

Калниете С.

## В бальных туфельках по Сибирским снегам

/ пер. с латышск. Дм. Романов. – Рига: Atena, 2006. – 375 стр.: портр., ил.

### Содержание:

ДЕПОРТАЦИЯ ... (стр. 45)

МОЙ ДЕД ЯНИС ... (стр. 61)

ВЯТЛАГ ... (стр. 73)

ПРОШУ МЕНЯ РАССТРЕЛЯТЬ ИЛИ ОПРАВДАТЬ ... (стр. 121)

ПОСЕЛЕНИЕ. ГОЛОД ... (стр. 143)

ПЕРЕМЕНЫ ... (стр. 169)

МОЯ БАБУШКА ЭМИЛИЯ ... (стр. 183)

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ БАНДИТА ... (стр. 211)

МОЙ МНЕ, МАМА, ВОЛОСЫ ДОЖДЕВОЙ ВОДОЙ ... (стр. 251)

НЕ РОЖАТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА РАБОВ ... (стр. 269)

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ ... (стр. 287)

### ДЕПОРТАЦИЯ

Я всегда недоумевала: как удалось в полной секретности подготовить столь массовую акцию, какой была депортация 14 июня 1941 года? Ведь какая требовалась подготовка — надо было составить списки высылаемых, переоборудовать вагоны для скота и сцепить их в составы, подогнать машины для доставки задержанных на станцию, укомплектовать арестные бригады и прочее, и прочее. Каким образом эти приготовления могли пройти незамеченными? Должны же возникнуть слухи, полушепот, зловещие предчувствия, — но не было, ничего этого не было! Из воспоминаний многих сосланных можно понять, что почти всех, так же, как семью моей мамы, высылка застала врасплох. Ну да, кто-то там что-то говорил, но мало ли о чем люди судачат? Моему сознанию, отравленному опытом советского существования, казалось само собой разумеющимся: если слышишь что-то подобное, бойся, прав ты или виноват. Я забыла, что люди до этого жили в правовом государстве, в котором безвинного человека нельзя, как преступника, ночью вытащить из дому, загнать в вагон для скота и увезти на неизвестную чужбину. В Латвии в мирное время ничего похожего не случалось; француз, американец или англичанин в подобных обстоятельствах действовали бы точно так же — не боялись бы и не пытались бежать, уверенные в изначальной безопасности свободного, ни в чем предосудительном не замешанного человека. Так и Янис, и Эмилия не поверили предупреждениям своего жильца, железнодорожника Швехеймера. Понаблюдав, как «телятники» приспособливают для перевозки людей и соединяют их в длиннейшие

- 46 -

составы, он 12 июня пришел к моему деду Янису, чтобы рассказать об увиденном. Но ни Янис, ни Эмилия не вняли предупреждению. Они были люди простые, держались далеко от всякой политики и потому чувствовали себя в безопасности. Правда, за несколько дней до высылки Янис

был вызван в милицию, где его вежливо и весьма подробно расспросили о составе семьи, родственниках, имущественном положении; допрос длился пару часов. На прощанье милицейский чин по-русски похвалил деда — если бы все были такими же честными, как Янис Кристапович, жить на свете было бы куда легче! Придя домой, Янис с облегчением сказал жене: «Ну, наконец-то нас оставят в покое! Теперь проживем нормально!» Единственным в семье, кому что-то грозило, был, казалось, младший сын Виктор — офицер латвийской армии. Насчет репрессий против военных и айзсаргов приходилось уже слышать не раз. Но остальные — в чем их-то можно обвинить? Нет, эти вещи к нам не относятся, рассудили Янис и Эмилия. А иначе разве Янис оставил бы своих и отправился в Кемери, в загородный дом «Упитес», чтобы там пробыть до воскресенья, 15 июня?

Откуда было моему деду знать, что уже 9 июня капитан НКВД Латвийской ССР Шустин с пометкой «Совершенно секретно» утвердил подготовленное сержантом Мутиным постановление об аресте Дрейфелда Я. К.<sup>38</sup> В постановлении слово «арестовать» употреблено в прошедшем времени, констатируется как уже произведенное действие, хотя до реального задержания Дрейфелда Я. К. оставалось еще четыре дня. В обоснование ареста тов. Мутин обвинял названного Дрейфелда Я. К. в былой принадлежности к радикальной организации «Перконкрустс»<sup>39</sup> и в антисоветской деятельности. Все это было вымыслом — мой дед держался от политики как можно дальше. Он никогда не был членом какой-либо политической организации, что уж говорить о

[38](#) LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. 1., 12. lp. Jāņa Dreifelda izsūtīšanas lieta (Дело о высылке Яниса Дрейфелда).

[39](#) «Перконкрустс» — основанная в 1930 году политическая организация ярко выраженной антисемитской направленности, идеологически близкая фашизму. В 1934 году президент Улманис эту организацию объявил вне закона. Она возобновила свою деятельность в июле 1941 года, после начала фашистской оккупации Латвии.

- 47 -

перконкрустниексах, которых дед считал зачинщиками беспорядков. Единственная общественная активность деда была связана с юрмальским Обществом домовладельцев. На основании вымышленного обвинения чекист Мутин на отпечатанном в типографии бланке написал свое решение: «Семью арестованного<sup>40</sup> Дрейфелда Яниса Кристаповича в следующем составе: сын Дрейфелд Виктор 1919 года рождения — выслать за пределы Латвийской ССР». Решение Мутина резолюцией «Согласен» утвердил начальник Секретной политической части НКВД Гаварс. В первом постановлении моя бабушка и мама не упомянуты. Тогда, как бы спохватившись, чекисты составляют новую бумагу, в которой уже сказано, что вместе с сыном Виктором Дрейфелдом подлежат высылке жена арестованного Эмилия Дрейфелде и дочь Лигита Дрейфелде<sup>41</sup>. По непостижимой логике чекистов сыновья Вольдемар и Арнольд не были причислены «социально опасным элементам» и высылке не подлежи. Возможно и другое — что решение насчет них тоже велось и искать его следует в отделах НКВД Вентспилса и Гкрунды, по месту жительства и работы братьев.

Не подозревая об ожидавшем ее жизненном повороте, Лигита, так же, как ее одноклассницы, уже третий день трудилась в одной из рабочих столовых, устроенных во многих национализированных домах Юрмалы. Лигита ничего не имела против провозглашенного новой властью принципа «кто не работает, тот не ест». Сколько она себя помнила, в их семье все и всегда работали. Девушка успешно справилась с девятью экзаменами, которые полагалось сдать

по окончании первого класса гимназии. Теперь лето принадлежало ей. Родители обещали, что за каждый сданный экзамен она получит разрешение пойти на какую-нибудь вечеринку или танцы. Как раз на следующий день, 14 июня, должен был состояться вечер танцев. Уже который день Лигиту больше

[40](#) Курсивом обозначен типографским способом отпечатанный текст.

[41](#) LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. 1., 13.1p.

- 48 -

всего беспокоили два вопроса, которые не меньше занимали и ее ровесниц: что надеть и какую сделать прическу. Совсем недавно она вместе с матерью была у портнихи, шутка ли: последняя примерка! Пошитый специально к этому лету костюм из зеленого шелка был так красив! Обе они с мамой согласились, что к такому костюму просто необходима широкополая шляпка из той же материи. «Да-да, пусть госпожа Рибена (так звали портниху) смастерит ее из этого же зеленого шелка, слышишь, Лигиточка?» — «Да, мама!» — радостно кивала в ответ Лигита. Вечером с работы пришел брат Виктор. И у него был припасен подарок для сестры — чудесные замшевые туфельки на высоких каблуках с пробковой подошвой. «Как, нравится? Будешь носить?» Сестра в восторге бросилась Виктору на шею. И, конечно, тут же примерила туфли. Они пришлись как раз впору. В тот миг она еще не знала, что эти туфли будут ее единственной обувью в первую зиму ссылки. В бальных туфельках — по сибирским снегам!

В эту ночь Лигита укладывалась на ночь в спальне родителей. Была у нее такая привилегия в те дни, когда отец отлучался куда-нибудь по делам или отправлялся в загородный дом. Тогда она пристраивалась рядом с мамой под атласным одеялом и сладко засыпала. Тут было так тепло, так надежно.

На этот раз сон был прерван громким стуком в дверь. Еще до конца не проснувшись, она слышала, как мать поднялась и вышла из спальни. Потом, много позже, в длинные, полные безнадежности сибирские вечера они обе припоминали события этой ночи снова и снова. Это произошло в три часа ночи. Около трех. Перед тем как открыть дверь, Эмилия успела добежать до лестницы и крикнуть сыну Виктору — он был наверху, — что «пришла полиция». Должно быть, Виктор не разделял беззаботности своих родителей и, точно ж бы ожидая чего-то, с вечера вырубил пробки. Эмилии не-

- 49 -

сразу удалось вернуть их в гнезда, и там, снаружи, стучали все громче. Слышны были и грубые, нетерпеливые голоса. Сердце сжалось от недоброго предчувствия, когда Эмилия подошла к дверям. В тот миг, должно быть, от испуга, моей бабушке показалось, что вошедших было шестеро или семеро. На самом деле оперативная группа состояла из пяти человек, как зафиксировано в донесении старшего группы Рудольфа Бриедиса об «исполнении акции»<sup>42</sup>. Из того же донесения я узнала фамилии остальных участников группы: Думбергс, Богорад, Штейнбаум и Сезонов. За углом дома и у входных дверей оставили часовых. Те, что вошли внутрь, быстро обыскали первый этаж и подошли к лестнице. Бриедис спросил: «Кто у вас там, наверху?» Эмилия спокойным голосом начала: «Там жильцы, снимают у нас квартиру». Вошедшие, однако, хотели во всем убедиться лично. Эмилия слышала, они постучали в дверь сына, как он открыл им. Через несколько минут они вернулись — без Виктора. Эмилия так никогда и не узнала, что Виктор наплел чекистам, — так или иначе, его отчаянной лжи поверили. Может быть, и вправду приняли

за постороннего и не хотели подымать лишний шум, ибо у них было указание «виновных» задерживать, по возможности не привлекая внимания соседей<sup>43</sup>. Так Эмилия спасла своего сына Виктора от ссылки и, скорей всего, от верной смерти<sup>44</sup>. Виктору пришлось, затаившись наверху, слушать, как увозят его родителей и сестру.

В страхе закутавшись одеялом до подбородка, слышала Лигита пугающие шумы и чужие, грубые голоса. Неведенье мучило невыносимо. Наконец, пришла мама. С ней вместе в комнату ввалился человек в военной форме. Бриедис. Эмилия ласково сказала дочке: «Лигита, милая, нужно встать». Чужой человек резко прервал ее, приказав одеться и собрать вещи. Их переселяют в другое место. Тут же, в Латвии, недалеко — в Огре. «Где Янис и Виктор Дрейфелды?» —

<sup>42</sup> Там же, с. 14.

<sup>43</sup> В соответствии с приказом заместителя наркома государственной безопасности СССР И. Серова № 001223 «О процедуре депортации антисоветских элементов в Литве, Латвии и Эстонии», оперативным группам следовало «...обеспечить проведение операций без помех и паники, так, чтобы не допустить демонстраций и других беспорядков не только со стороны депортируемых, но также и со стороны враждебного советской администрации местного населения». См. *Via Dolorosa: Stalīnisma upuru liecības*. — 1. sēj. — Rīga: Liesma, 1990. — 32. lpp.

<sup>44</sup> Полных данных об уничтоженных офицерах и солдатах латвийской армии нет. Известные нам цифры показывают, что из 30 843 человек, состоявших в латвийских вооруженных силах, репрессиям подвергся каждый шестой. Всего в 1940/41 гг. репрессированы 4665 военнослужащих. Из них пропали без вести 3395 человек. См. *Vambals A. 1940./41. gadā represēto latviešu virsnieku piemiņai* (Памяти репрессированных в 1940/41 гг. латышских офицеров) // *Latvijas Okupācijas muzeja gada grāmata 1999. Genocīda politika un prakse*. — Rīga, 2000. — 149. lpp.

- 50 -

был следующий вопрос. Эмилия отвечала, что насчет сына ничего не знает, а муж в загородном доме; без главы семьи они никуда не поедут. Оставив пару человек, остальные отправились искать дом «Упитес» и моего деда. Может быть, если бы бабушка не сказала, где ее муж, тернистый путь в Сибирь и смерть его миновали. Были случаи, когда, не обнаружив сразу же подлежащего аресту, чекисты не продолжали поисков. Некоторые 14 июня таким образом и спаслись. Но ведь Эмилия в тот миг не знала обо всем, что их ожидало: их переселяют в Огре, это всего километров 70 от Дубулты. Как это — уехать без Яниса?

Пока остальные оперативники ездили на поиски главы семьи, оставшиеся в доме продолжали обыск.

Ожидая мужа, Эмилия вместе с Лигитой беспомощно металась, пытаясь собрать какие-то вещи. Что взять? Что оставить? Зачем им куда-то ехать? Вопросы без ответа бились в сознании, не находя выхода, и все валилось из рук. Эмилии так хотелось, чтобы муж поскорей оказался рядом! Он-то знал бы, что делать. Наконец, послышалось урчание мотора. Машина остановилась у дома. Муж здесь — значит, все уладится. Теперь-то ничего" дурного с ними не может случиться, Янис

всегда знает, что делать. И в самом деле, он знал. Как всегда. Как когда-то во время гражданской войны, раздиравшей Россию, он сумел привезти семью в относительно безопасную Латвию. Энергичный, деловой, он начал действовать немедленно. Каждому объяснил, что делать. Нужно упаковать одеяла, наволочки, простыни, одежду, обувь. Взять с собой самую необходимую домашнюю утварь. Слыша непрерывный шум внизу и завидев стоящую у ворот машину, соседка спустилась по лестнице взглянуть, что происходит. Открыла дверь и в испуге отпрянула. Оперативник, заметив незнакомую женщину, крикнул, чтобы она вошла, расспросил, кто она такая, и узнав, что та не состоит в родстве с

- 51 -

Дрейфелдами, приказал ждать, пока «операция окончится»<sup>45</sup>. Опомнившись от шока, соседка, как уж умела, старалась помочь в сборах. Она настояла на том, что нужно захватить с собой все масло, какое было в доме, и сама им наполнила пятилитровую кастрюлю. Из кладовки принесли кусок копченого сала и буханку черного хлеба — ну и хватит, больше съестного не понадобится, раз ехать только до Огре. Янис тайком вытащил из ящика стола деньги и сунул их в руку жены. Эмилия спрятала их за корсаж. После голода и разора, пережитых в России в годы первой мировой войны, Янис поневоле стал дальновидным. Он полагался только на себя. 1940 году, вскоре после вступления в Латвию советских войск, в сарае устроил тайник с запасом провизии — мукой, крупами, сахаром, копченым салом. Особым распоряжением новых властей предусматривалось строгое наказание тех, кто прячет у себя продовольствие, поэтому тайник остался на этот раз нетронутым — не показывать же чекистам, где закопано заготовленное впрок! К тому же, в углу сарая зарыты и драгоценные украшения Эмилии, и столовое серебро. Как-нибудь вырвемся на денек из Огре и все достанем, думалось им. И служебное оружие Виктора спрятано там же, в сарае.

Члены опергруппы ключ от сарая нашли и отобрали, однако, как это видно из донесения Бриедиса, закопанных там вещей не нашли. После обыска в доме Дрейфелдов изъяты: пишущая машинка, порох, охотничья дробь, различные документы, ключ от сарая, в котором находились стройматериалы — цемент, известь, бидон с керосином и прочее<sup>46</sup>. Небогатый вышел улов — ни оружия, ни контрреволюционной литературы, ни заграничной валюты. Для будущего винительного заключения — ни малейшей зацепки. Спустя какое-то время сыновья хотели достать из тайника фамильные драгоценности, но ничего не нашли. Видно, кто-то

<sup>45</sup> В соответствии с приказом заместителя наркома государственной безопасности СССР И. Серова № 001223 «О процедуре депортации антисоветских элементов в Литве, Латвии и Эстонии», «все лица, которые появятся в доме депортируемых в ходе проведения операции (..) должны быть задержаны до окончания операции; следует выяснить, каковы их связи с семьей высылаемых. (..) После чего (..) это лицо подлежит освобождению». См. *Via Dolorosa: Stalīnisma upuru liecības*. — 1. sēj. — Rīga: Liesma, 1990. — 34. lpp.

<sup>46</sup> LVA, 1987. f., 1. apr., 20293.1., 14. lp.

- 52 -

успел там побывать раньше их. Так эти вещи и гуляют где-то в необъятном мире, и неизвестно, где, какая семья уже в третьем поколении пользуется старинным серебром, на котором выгравирована незнакомая монограмма — ED: Emilija Dreifelde.

Тем временем Лигита заполняла свой небольшой синий чемоданчик. Ей ведь тоже нужно захватить с собой самое необходимое — крем, духи, лак для ногтей: наверняка и там будут танцы, и нужно выглядеть не хуже ровесниц. Может быть, в Огре совсем неплохо. Место красивое. И та же самая Латвия, что и здесь. Так уговаривала себя с детской непосредственностью моя мама. «Лигита, что ты ерундой занимаешься», — с непривычной резкостью прикрикнула Эмилия; одним рывком она вытряхнула содержимое чемоданчика на атласное одеяло, а сам чемодан отшвырнула в угол. Лигита зашмыгала носом. Мир вдруг сделался жестким. Пора мечтаний и развлечений разом оборвалась.

Эти люди спешили и торопили Дрейфелдов — и без того уже столько времени потеряли, пока ездили в Кемери. «Быстрее! Быстрее! Хватит вам возиться!» — только и слышалось. И вот пора выходить. Переступив через порог, Лигита повернула во двор: она хотела проститься со своим четвероногим любимцем, Джеком. Раздался возглас: «Назад!» Солдат подтолкнул ее к воротам. Девочка расплакалась — горько, неудержимо. Эмилия обняла ее за плечи и тихо сказала: «Ничего, доченька, все уладится. Пойдем!» Но в голосе ее была тоска. Янис с горечью и нарочито громко, чтобы слышал конвой, сказал им: «Давайте в машину, все равно для этих негодяев ваши слезы ничего не значат!» — и они забралась в кузов грузовика, где, оказалось, все это время ждали товарищи по несчастью — местный полицейский Аншкинс с женой и дочкой Нелли. Это были последние

- 53 -

слова, которые слышал от него сын Виктор, прятавшийся наверху. Машина тронулась и больше ни разу не останавливалась по пути.

Сначала их отвезли на станцию Торнякалнс, но там все вагоны были уже переполнены, и конвоиры получили указание везти транспортируемых па следующий погрузочный пункт. Уже светало, когда Дрейфелды и Аншкинсы подъезжали к станции Шкиротава. Там им приказали слезать. Грузовые машины подходили одна за другой, привозили все новых страдальцев. Женщины, дети, старики толпились у черных вагонных зёвов. Рыдания, стоны... Дрейфелды озирались, ничего не понимая: зачем в вагонах для скота везти в Огре? Но куда же, если не... В толпе были видны знакомые лица. Янис Дрейфедд столкнулся лицом к лицу и поздоровался со знакомым фабрикантом. Последовал приказ «грузиться» в один из вагонов. Тот был уже почти полон, однако время от времени двери открывались, и новые семьи втискивались внутрь. Советская власть «благоустроила» эти средства передвижения. По обеим сторонам от дверей были наспех сколочены двухэтажные нары. Выше них едва пропускали свет маленькие зарешеченные оконца. Середина вагона между нарами оставалась свободной; у задней стенки не забыли прорубить отверстие в полу для отправления естественных надобностей. Там же вдоль глухой стены вагона рядами были выложены буханки хлеба. В вагоне, куда загнали Дрейфелдов, набралось сорок человек. В том числе малые дети...

На станции Шкиротава вагоны простояли трое суток — 14, 15 и 16 июня. Загнанным в вагоны людям выходить не разрешалось. Даже ходить по своей надобности приходилось тут же, в вагоне, у всех на виду. Ну да, остальные старательно отводили глаза, но унижение от этого не уменьшалось.

- 54 -

Девушкам, молодым женщинам было труднее всего пересилить себя и отправиться к темной, вонючей дыре. Наконец, нашлась простыня, хотя и отгородившая от чужих взглядов, но ничем не улучшившая санитарное состояние тюрьмы на колесах. Раз в день в вагон приносили два ведра воды. На каждого выходило пол-литра для питья. О том, чтобы умыться, не могло быть и речи. Те, у кого была с собой посуда, делились с товарищами по несчастью, не сумевшими взять с собой самые простые и необходимые вещи. Люди, съезжившись, сидели на нарах или на своих вещах посреди вагона. Общая подавленность, слезы, стенанья... Время от времени кто-нибудь поднимался к зарешеченному окошку — посмотреть, что происходит там, снаружи. А там продолжали подъезжать грузовики с арестованными, и солдаты загоняли в вагоны все новых и новых людей. Еды не давали, да никому и не хотелось есть<sup>47</sup>. Янис Дрейфелд, правда, строгим голосом увещевал Эмилию и Лигиту съесть хоть что-нибудь из взятого с собой, но сухой кусок не лез в горло. В горле и без того все время стоял комок. Очень хотелось пить, но питьевой воды не хватало, «преступникам» ни капли больше не полагалось. 16 июня около полудня начальство обходило вагоны; выкликались имена находившихся в вагоне, каждого заставляли подписывать какой-то листок. Наконец, в ночь с 16 на 17 июня состав двинулся в путь. Кто-то умудрялся выбросить в окошечко записку, из которой близкие могли бы узнать об их судьбе. Нескончаемый состав уже успел набрать скорость, и в поднимаемом им вихре белые листочки кружились, словно мотыльки. Жители окрестных домов, находившие потом эти записки, старались как-нибудь доставить их адресатам. Дрейфелды были слишком измучены, чтобы писать кому-то. Ближе к утру поезд пересек границу Латвии у Зилупе. Сдавленным голосом, со слезами на глазах пели Янис, Эмилия и Лигита: «Прощай, Видземите, не бывать мне на этой земле...» Восемь лет спустя, в марте

<sup>47</sup> Согласно подготовленному еще весной 1941 года в НКВД СССР плану депортации жителей Литвы, Латвии, Эстонии и Молдавии, «питание высылаемых организуется с помощью станционных буфетов из расчета — 3 рубля в сутки, включая 600 граммов хлеба, на человека». См. Oкурācijas varu politika Latvijā. 1939.—1991. (Политика оккупационных властей в Латвии. 1939—1991). — Rīga: Nordik, 1999. — 144. lpp.

- 55 -

1949 года, эту же самую песню пели моя бабушка Милда и отец Айвар, когда пересекали границу Латвии, начиная свой мучительный путь в Сибирь.

В воспоминаниях многих ссыльных говорится о последней песне, пропетой при расставании с родной землей. Одни пели «Боже, благослови Латвию», другие — «Вей, ветерок!», и — «О тебе спою, Отчизна». Так в первую годовщину оккупации Латвии, 17 июня 1941 года, семья моей матери вместе с пятнадцатью тысячами других несчастных покинула Латвию. Многие — навсегда, другие же — на долгие, долгие годы.

Как изменился пейзаж за границей Латвии! Покосившиеся избы. Неухоженные поля. Худые, загнанные клячи, тощие коровёнки. Так вот он каков, Советский Союз! Как все это было не похоже на слышанное в первый советский год — о свободном и радостном советском человеке, о счастливой жизни в богатой, изобильной стране под водительством мудрого Сталина! Поезд увозил латвийцев дальше вглубь России. Время от времени состав останавливался у какой-нибудь станции, но выходить из вагонов не позволялось. Раз в день двери открывались с лязгом и скрежетом, чтобы выпустить двух водоносов. Вдоль вагонов бегали оборванные, худенькие дети, выпрашивая хлеб, сильные не отказывали им в куске хлеба — кто бросал его из сострадания, кто — потому, что буханки, заготовленные для них, начали уже плесневеть. Хлеб этот почти никто не

ел, у большинства еще оставались взятые из дому продукты. И потом, он был таким невкусным! Невзрачно одетые женщины пытались продать ссыльным вареную картошку и немного молока. Обменять картошку или молоко на казенный хлебный «кирпичик» — это была для них большая удача. Янис Дрейфедд пытался улестить одного из охранников, обещал деньги, если он купит им что-нибудь съестное.

- 56 -

Солдат отказался: такое мягкосердечие в отношении «преступников» строго наказывалось. Один охранник все-таки поддался на уговоры, и таким-то образом они получили пачку сухого, безвкусного печенья: ничего другого в железнодорожном буфете не нашлось. Янис пробовал разузнать, куда их везут, однако солдаты на вопросы не отвечали. Скорей всего, они и сами ничего не знали. Начальство думало за них. Неведение терзало. Сколько в вагоне было разговоров о возможном конечном пункте их маршрута! Вот будет ужас, если их доставят в места, такие же нищие, как эти мелькавшие за решеткой узенького оконца деревни! Кто же мог вообразить, что эти скудные места по сравнению с голодом и холодом, ожидавшими их, показались бы раем...

Через пять суток поезд прибыл на станцию Бабинино. Там стояли непривычно долго. Может, они уже прибыли на новое местожительство? Наконец-то открылись двери вагонов, женщинам с детьми приказали выйти. Женщины не соглашались, протестовали как могли, отказываясь покинуть своих мужей и сыновей, братьев, отцов. Видя, что строгостью тут не возьмешь, чекисты прибегли к хитрости. Они успокаивали взбудораженных женщин: в конце пути семьи воссоединятся. Теперешнее разделение продиктовано соображениями социалистического гуманизма: в таком тесном пространстве долгое совместное пребывание мужчин и женщин безнравственно и противоречит предусмотренному советской властью порядку<sup>48</sup>. Не оставалось ничего другого, как подчиниться, и Эмилия, Лигита вместе с другими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста нехотя покинули вагон. Обе верили, что расстанутся с мужем и отцом всего на несколько дней, поэтому даже не простились толком. И Янис был убежден в том же — разве иначе он позволил бы жене и дочери уйти так легко одетыми, с одним небольшим чемоданом на двоих? Хотя времени для того,

<sup>48</sup> Там же, с. 150. — Согласно инструкции НКВД СССР о порядке проведения операции, семьи не следовало информировать о предстоящем разделении. При погрузке в вагоны главы семейств предупреждались о том, что их личные вещи нужно класть особо, так как санитарный осмотр женщин и детей с их вещами будет производиться отдельно.

- 57 -

чтобы разделить и заново упаковать вещи, не дали, мой оборотистый дед уж как-нибудь умудрился бы бросить вслед спойм лишний узел с одеждой. Однако он не хотел, чтобы жена и дочь тащили на себе лишний груз. Как всегда, он, щадя своих женщин, готов был взять основную тяжесть на себя. Так на станции Бабинино Эмилия и Лигита расстались с Янисом, не зная, что прощаются с ним навеки. До весны 1990 года нашей семье ничего не было известно о дальнейшей судьбе Яниса Дрейфелда...

**МОЙ ДЕД ЯНИС**

Я знаю о своем дедушке Янисе совсем немного. Маленькой девочкой я любила рассматривать полученные от родни семейные фотографии. На них дед выглядел плотным мужчиной с волевым, если не суровым лицом. Я бы побоялась к нему подойти и тем более озорничать при нем, — так я думала, глядя на его изображение. Маме я о своих страхах не говорила, она-то неизменно вспоминала своего отца с любовью. Лигита была у родителей поздним ребенком. Желанным и долгожданным: после троих сыновей Эмилия и Янис мечтали о дочери. Когда в 1926 году аист наконец-то сообразил принести в дом крохотную девчушку, моему деду было уже сорок восемь лет. Малышка Лигита обводила строгого отца вокруг своего маленького пальчика как хотела — Янис Дрейфелд только улыбался шалостям дочки; сыновья за такое же непременно получили бы взбучку.

Потом уже, когда подросла, я открыла в строгом лице патриарха семьи Яниса Дрейфелда другое. Кажущаяся и, быть может, слегка наигранная суровость отступила на второй план, и я обнаружила, разглядывая те же фотографии, насколько привлекательным мужчиной он был, мой дед. Стройный, уверенный в себе, энергичный, с озорными искрами в уголочках глаз. Был он подвижным, стремительным. Все, что делал, делал быстро. Янис родился в России, где его отец Криш, или Кристап, Дрейфелд служил недалеко от Петербурга в каком-то поместье лесничим. Его сын окончил приходскую школу и сызмала начал работать. Янис был находчив,

- 62 -

сметлив и довольно рано оказался владельцем небольшой лавки и ресторана. Пришло время обзавестись семьей, и в 1912 году он отправился в Латвию, в свой родной городок Скрунду, чтобы там пригласить себе невесту. По пути заехал в Лиепаяу, навестить родную тетку, хозяйку крупного магазина. Там он и встретил юную и красивую Илзе Эмилию Галиню, продавщицу в том самом магазине. Для Яниса то была любовь с первого взгляда. Он нашел жену, мать своих будущих детей. Началась переписка. С соблюдением всех тогдашних норм вежливости: многоуважаемая сударыня Га-линя... почтенный господин Дрейфелд... Переписка длилась примерно полгода, затем Янис снова приехал в Лиепаяу. Он пригласил Эмилию на прогулку и на площади Роз, хорошо известной каждому лиепайчанину, сделал предложение. Эмилия сказала «да». Теперь они были помолвлены. Янис поцеловал руку своей нареченной. Потянулся вроде бы и к ее губам, но был остановлен. Жених подарил Эмилии золотое колечко и браслет. То была их вторая встреча.

Тот факт, что Эмилия приняла предложение Яниса сразу же, доказывает: оно не было неожиданным. Значит, кто-то успел подготовить девушку, и она знала о намерениях Дрейфелда. Кому ж другому, как не госпоже Клявине — родной тетке — Янис доверил бы свои планы на будущее, кого еще мог спросить о том, как настроена Эмилия? Ведь и ему не хотелось бы получить отказ. Так и было: госпожа Клявина заговорила с Эмилией о достоинствах Яниса, о том, что он человек состоятельный, серьезный. И девушка, отрекаясь не без сожаления от мечтаний об особенной, романтической любви, все внимательней прислушивалась к речам хозяйки. Наверняка и моя прапрабабка Либа и прочие родственницы внесли свою лепту, не преминув лишний раз похвалить Яниса при его избраннице. По тогдашним понятиям он был и впрямь хорошая партия, мужчина, способный содержать

- 63 -

семью и обеспечить жене безбедную жизнь. Между тем, Эмилия не понаслышке знала, что такое бедность. Она видела, как тяжелый и непосильный труд изнурял ее родителей, Либу и Индрикиса, растивших шестерых детей. Итак, моя бабушка оценила открывшуюся перед ней возможность вырваться из нужды и дала понять госпоже Клявине, что не откажет Янису. Любила ли Эмилия Яниса? Тогда еще — нет. Однако она радовалась предстоящим переменам и ждала лучшей жизни в будущем. В начале прошлого века именно так заключались многие союзы — брак не был развлечением. Брак означал новые обязанности, и только если повезет, его расцвечивала любовь. Эмилии повезло. Она полюбила Яниса.

Третья встреча Эмилии и Яниса состоялась на их свадьбе. Назначена она была на Мартынов день, 10 ноября, в Лиепае. До свадьбы Янис ни разу не поцеловал Эмилию. Для новобрачных был заказан роскошный гостиничный номер. Там в свою брачную ночь они впервые оказались вдвоем. Представить себе их тогдашние чувства почти невозможно. Мои дед и бабушка были, в сущности, чужие друг другу и едва знакомые люди. Эмилия, воспитанная в викторианском духе, готовилась во исполнение долга и ради будущего семейного согласия «как-нибудь вытерпеть эти вещи». С этой твердой и почти героической решимостью ни разу не целованная Эмилия смогла преодолеть девичью стыдливость и отдаться только что обвенчанному с нею чужаку. Она хотела во что бы то ни стало стать счастливой, но между этим «хотеть» и «стать» — расстояние в тысячи шагов. Не меньшего удивления заслуживает мой дед — ему хватило такта и терпения, чтобы завоевать ответное чувство жены. По рассказам сестры моей бабушки, Анны, я знаю, что вскоре Эмилия уже горячо любила Яниса, и в моих глазах это убедительнейшее доказательство того, что дед мой был личностью в полном смысле слова. Брак оказался счастливым.

- 64 -

Через неделю после свадьбы Эмилия закуталась в подаренную мужем шубу, и оба отправились в Россию, где поблизости от Петербурга, в Кикерино, и началась по-настоящему их совместная жизнь. Янис за многие годы успел полюбить Россию, щедрость и сердечность русских людей, Эмилии же все здесь покуда казалось непонятным и чужим. В Кикерино проживали и другие латыши, в том числе сестра Яниса Александрина Вилните с мужем Екабом и тремя детьми. Однако в первое время Эмилия тосковала по Латвии. Широкие, равнинные пространства России ее подавляли. Народ здесь жил в целом беднее, чем в той же Латвии и тем более в других странах Европы. Эмилия могла сравнивать: перед тем, как выйти замуж, ей удалось, что называется, повидать свет. Капитан Невигер и его жена, будучи бездетными, охотно брали с собой в морские поездки юную родственницу. Так, девушка смогла повидать Амстердам, Роттердам, Гамбург и другие европейские портовые города; стиль и уровень жизни в них в то время во многом напоминал Ригу и Лиепаю.

В Кикерино Эмилия скоро уже свободно говорила по-русски. Язык этот и прежде был ей знаком: повелением царя Александра Третьего русский был единственным разрешенным языком обучения в школах<sup>49</sup>. Так царь надеялся противостоять вольнодумству гимназистов, студентов и прочих молодых бунтарей, все явственней угрожавших самодержавию. Людей, говорящих на одном языке, все-таки легче контролировать.

Эмилия помогала свекрови Паулине в ресторане, позволяло Янису больше времени уделять лесоторговле, другому источнику семейного благосостояния. Первая беременность заставила Эмилию забыть даже тоску по родине: ожидаемый ребенок занимал все ее мысли. Янис, счастливый и гордый, оберегал юную жену, как только мог. 1 апр. 1914 года родился их сын Вольдемар. Теперь жизнь Эмилии

- 65 -

и Яниса обрела новый смысл и полноту. У Яниса на глазах совершилось чудо: в робкой, застенчивой Эмилии после рождения первенца пробудилась женщина. Эмилия и сама открывала в себе незнакомые, новые черты. Она только теперь осознала силу своей женственности и красоты, ее власть и над собой, и над мужем. Обоих точно опьяняла новая, захватывающая радость обретения и самоотдачи. Они были так счастливы. И не подозревали, что время их полнокровной жизни и работы уже на исходе.

Над Европой сгущались тучи войны. 28 июня в Сербии убит наследник престола Австро-Венгрии, а 1 августа Германия объявила войну России. Первая мировая война с ее ужасами и неисчислимыми жертвами разрушила прежний миропорядок. Распались Российская империя и Австро-Венгрия. В феврале 1917 года царь Николай Второй был вынужден отречься от престола. Впервые в истории России явилась надежда на демократическое развитие страны. Чтобы еще более ослабить и расколоть враждебное государство, Язер Вильгельм позволил вожакам российской партии большевиков через территорию Германии вернуться на родину. Партии коммунистов, еще недавно совсем малочисленной и не слишком известной, удалось сыграть на чувствах народа, измученного войной, разрухой и скверным правлением. 25 октября 1917 года большевики совершили государственный переворот, арестовали Временное правительство, развитие демократии в России было остановлено на долгих семьдесят лет. Первоначальные надежды на обещанное большевиками государство справедливости вскоре обернулись своей противоположностью — кровавой «диктатурой Пролетариата». В Европу хлынули, спасаясь от коммунистического террора, русские аристократы, интеллектуалы, чиновники, предприниматели, купцы — все, кому хватило решимости и везения, чтобы сбежать.

- 66 -

Слабое эхо событий, происходивших в Латвии, доносилось до Яниса и Эмилии в письмах родни. Однако истинные размеры разрушений они не могли себе представить: в памяти обоих оставалась та Латвия, которую они оставили на Мартынов день 1912 года, через неделю после свадьбы: спокойная, мирная, безбедная. Российская армия отступала через Курземе, с ней вместе должны были уходить все взрослые мужчины. 8 мая 1915 года немцы заняли Лиепаю. Эмилия боялась за своих родителей, не зная, примкнули они к 400 тысячам земляков, ставших беженцами<sup>50</sup>, или остались в городе. Либа и Индрикис, оказалось, решили остаться. Добра у них было немного — считай, взять с них нечего, а рабочие руки нужны любым властям. Через год уже более 850 тысяч латышей оставили родину<sup>51</sup>, чтобы двинуться через Эстонию дальше, в Россию. Три года через Латвию проходила линия фронта. В газетах писали о героизме вновь созданных соединений латышских стрелков в боях с немцами близ Риги, на острове Смерти. Чего не было в газетах, так это упоминаний об огромных потерях среди стрелков и мирных жителей. Уже после войны, когда были обобщены данные обо всех погибших и пропавших без вести, выяснилось, что первая мировая война отняла жизнь 30 000 стрелков<sup>52</sup>. Пропавшим без вести считался и брат Яниса Юрис; семья разыскивала его потом годами, но тщетно.

После октябрьского большевистского переворота о происходящем в Латвии поступали все более отрывочные и противоречивые известия, так что мои дед и бабушка не знали, как быть — оставаться в России и ждать, пока кончится этот хаос, или, все бросив, бежать в Латвию.

События в Латвии развивались не менее драматично, чем в самой России. Через неделю после того, как в 1918 году Германия в Компьенском лесу подписала безоговорочную

[50](#) Latvju enciklopēdija / Red. A. Švābe. — Stokholma: Trīs Zvaigznes, 1950. — 231. lpp.

[51](#) Bartele T., Salda V. Latviešu repatriācija no Padomju Krievijas 1918.—1921. (Репатриация латышей из Советской России, 1918—1921) // Latvijas Vēsture. — 1998. — Nr. 4. — 28. lpp.

[52](#) Lismanis. 1915—1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai (Памяти битв И павших воинов). — Rīga: NIMS, 1999. — XII lpp.

- 67 -

капитуляцию, 18 ноября в Риге собрался Народный Совет Латвии и провозгласил создание независимого Латвийского государства<sup>53</sup>. Хрупкая это была независимость; уже в декабре смертельной угрозой для нее стала большевистская интервенция. После бессмысленных потерь, понесенных в годы войны латышскими стрелками главным образом из-за просчетов бездарного царистского главного командования, в рядах стрелков произошел раскол, и немалая их часть примкнула к большевикам. Сделавшие этот выбор стрелки в конце концов дорого заплатили за него — в 1934 и 1937 годах жертвами сталинских репрессий стали около 70 000 оставшихся в Советском Союзе латышей<sup>54</sup>, и в их числе значительная часть ветеранов революции — бывших латышских стрелков. Именно их штыками осуществлена интервенция в Латвию и по тому же сценарию, что и в Петрограде, провозглашено советское государство рабочих и крестьян. Однако же коммунисты очень скоро лишились поддержки малоимущих. Вначале настроенные просоветски люди вскоре узнали на себе, что такое красный террор.

Опасаясь распространения большевизма, союзники решили поддержать новое правительство Латвии. Верные ему латышские солдаты и ополчение в долгих и самоотверженных битвах покончили как с большевиками, так и враждебными независимой Латвии военными формированиями генерала Гольца и Бермонта-Авалова. Братья Эмилии — Эйнис, Янис и Карлис Галиньши также сражались за независимость Латвии. В феврале 1920 года территория страны была полностью освобождена от завоевателей. 11 августа 1920 года в Риге подписан мирный договор между Латвией и Россией, в котором говорилось: «Россия безоговорочно признает независимость, самостоятельность и суверенитет Латвийского государства и добровольно и на вечные времена отказывается от всех суверенных прав на народ и землю Латвии»<sup>55</sup>. Этот отказ, однако, не помешал Советскому Союзу

[53](#) Latvijasvalstspasludināšana 1918. gada 18. novembrī. — Rīga: Madris, 1998. — 113. lpp.

[54](#) Точных данных об уничтоженных и репрессированных в Советском Союзе латышах нет. Большая часть источников упоминает приблизительные цифры — от 70 до 80 тысяч человек. Согласно данным проведенной в январе 1939 года переписи населения, в СССР жили к тому времени 128 345 латышей, что на 23 065 человек меньше, чем в 1926 году. См. Beika A. Latvieši Padomju Savienībā — komunistiskā genocīda upuri, 1929—1939 (Латыши в Советском Союзе — жертвы коммунистического геноцида, 1929—1939) // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 1999 Genocīda politika un prakse. — Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2000 — 89. lpp. Согласно оперативному приказу народного комиссара внутренних дел Н.Ежова от 30 июля 1937 года № 00447 «Об операции репрессирования бывших кулаков, уголовных преступников и прочих антисоветских элементов» 5 августа 1937 года началась первая волна репрессий, в ходе которой

планировалось расстрелять 47 150 и подвергнуть репрессиям 140 950 человек, в том числе и латышей. См. *Oku pācījas varu politika Latvijā. 1939—1991.* — Rīga: Nordik, 1999. —36. lpp.

[55](#) Miera līgums starp Latviju un Krieviju 1920. gada 11. augustā, Rīga (Мирный договор между Латвией и Россией 11 августа 1920 года, Рига). — 1920.— 7. burtn. — 18. septembrī. — 1.—21. lpp.

- 68 -

в 1940 году нарушить и этот, и пять других двусторонних договоров<sup>56</sup>. 26 января 1921 года конференция союзников приняла решение «О признании Латвийской Республики de jure государством»<sup>57</sup>.

Видя, как раскачивает Россию гражданская война с ее переменчивым счастьем, мой дед Янис остро ощущал, что рождается новая, другая Россия, не похожая на ту страну, которую он знал и любил, в которой прошла почти вся его жизнь. Победа большевиков надвигалась неотвратимо, и уже нельзя было откладывать решение — остаться или уезжать. Трудно было Янису расставаться и с делом всей жизни, нажитое тоже приходилось оставлять. Гиперинфляция превратила его сбережения в кучу ненужных бумаг, и семья возвращалась на родину, можно сказать, с пустыми руками. Однако Эмилия утешала мужа: «Едем! Добро как-нибудь наживем снова. Добраться бы только до Латвии живыми и здоровыми!» И Янис решился. Нужно было спасти семью: жену, мать, трех сыновей. Сестра деда Александрина Вилните с мужем и детьми остались в России. В 1937 году Янис получил от сестры последнее письмо<sup>58</sup>. Дальнейшая судьба Александрины и ее близких неизвестна, но думается, они стали жертвами сталинских репрессий 1937 года. Мать Яниса Паулине вместе с сыном и его семьей решила вернуться на родину. Дорога была полна опасностей: и в России, и в Латвии еще бушевала гражданская война. Каким образом — железной дорогой или на лошадях — добрались Дрейфедцы до Латвии, неизвестно. Во всяком случае, в конце 1919 года семья была уже на месте<sup>59</sup>. Их возвращение совпало с последними боями за освобождение страны. О потерянном Янис и Эмилия не слишком горевали. Главное, дети живы - здоровы. Сами они были молоды и полны сил, а работающий человек нигде без куска хлеба не останется. Им было даже легче, нежели многим другим, кто вернулся из хаоса и

[56](#) Lettonie — Russie : Traités et Documents de Base in Extensio / réunis par Ansis Reinhard. — Riga: Collection «Fontes» Bibliothèque Nationale de Lettonie, 1998. - p. 98.

[57](#) Reconnaissance "de jure" de la République de Lettonie le 26 janvier 1921 par la Conférence interalliée. См. Lettonie — Russie: Traités et Documents de Base in Extensio / réunis par Ansis Reinhard. — Riga: Collection «Fontes» Bibliothèque Nationale de Lettonie, 1998. — p. 42.

[58](#) LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. 1., 5. lpp.

[59](#) Там же.

- 69 -

разора России и должен был начинать жизнь на пустом месте. Дядя оставил Янису в наследство дом и земельный участок в Юрмале. Там они и поселились. Брат Эмилии Эйнис не отказал Янису в небольшом займе; теперь он мог приобрести самое необходимое и завести торговлю — дровами.

Дрейфедды, таким образом, избежали многих испытаний, пережитых множеством латышских беженцев, которые в момент подписания мирного договора 1920 года между Латвией и Россией все еще оставались в России. Латвия теперь была суверенной страной, а потому им приходилось

оформлять разрешения на отъезд, доказывать, что перед тем, как поселиться в России, они были приписаны к своим волостям и, следовательно, являются гражданами Латвии. Хотя в договоре четко оговаривались условия возвращения беженцев<sup>60</sup> и обещалось, что официальные учреждения России не будут чинить препятствий к этому, но одно дело договор, другое — его выполнение. Российские чиновники зачастую нарочно медлили с выдачей необходимых документов или старались скрыть от латышей информацию об их праве на возвращение. Еще с времен войны в России действовал Комитет латышских беженцев, но и ему чинили всяческие препятствия и мешали связаться с соотечественниками, разбросанными по необъятным просторам России. Таким образом, в советской России осталось около 150 000 латышей<sup>61</sup>. Для большей их части этот выбор не был добровольным.

Двадцать лет, прошедших после возвращения семьи в Латвию, вполне доказали: уверенность Эмилии в том, что потерянное добро можно вернуть упорным трудом, полностью оправдалась. Дрейфелды стали пусть не слишком богатой, но, по латвийским стандартам, зажиточной семьей — что называется, средним классом. Взятый в банке на

<sup>60</sup> *Vēgļu reevakuācijas līgums starp Latviju un padomju Krieviju (Договор О реэвакуации беженцев между Латвией и советской Россией) // Likumu un valdības rīkojumu krājums. — 1920. — 7. burtn. — 18. septembrī. 19.—21. lpp.*

<sup>61</sup> В большей части публикаций фигурирует другая цифра — 200 000. Однако по данным Всесоюзной переписи населения в 1926 году, в СССР проживали 151 410 латышей. См. Veika A. *Latvieši Padomju Savienībā — komunistiskā genocīda upuri, 1929—1939 (Латыши в Советском Союзе — жертвы коммунистического геноцида, 1929—1939) // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 1999. Genocīda politika un prakse. — Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2000. — 46. lpp.*

- 70 -

постройку нового двухэтажного дома кредит возвращен в 1938 году. Лесопильня в Слоке и лесоторговля не обманули ожиданий. В банке тоже имелись кое-какие сбережения. Янис и Эмилия вправе были думать, что их ждет мирная, обеспеченная старость. Оба родились в деревне и мечтали вернуться к земле, поэтому в 1936 году Янис приобрел 7 гектаров земли неподалеку от Кемери и там построил загородный дом. Рядом протекала небольшая речка, и, как это принято у латышских крестьян, дому дали название — «Упитес», уменьшительно-ласкательное от слова ире — речка. Сыновья получили образование. Старший, Вольдемар, выучился на агронома. Младший окончил Военную школу и был в начале своей офицерской карьеры. Арнольда не влекло к наукам, зато у него были золотые руки, и он стал кузнецом. Поздний ребенок и общая любимица Лигита училась в гимназии и мечтала об университете. Девушка ничего не знала о трудностях и нужде, пережитых при возвращении в Латвию и в первые годы жизни здесь. Это помнили ее братья. Она же родилась и выросла в благополучном доме. Она принадлежала к семье Дрейфелдов, уважаемой и состоятельной, когда 17 июня 1940 года в Латвию вступили советские войска. По советской терминологии, Янис Дрейфелд — классовый враг, разбогатевший «за счет эксплуатации рабочих и крестьян», а посему он был причислен к «социально опасным элементам», которые

согласно приказу заместителя наркома внутренних дел от 11 октября 1939 года подлежали депортации из Латвии<sup>62</sup>.

<sup>62</sup> Приказ заместителя наркома государственной безопасности СССР И. Серова № 001223 «О процедуре депортации антисоветских элементов в Литве, Латвии и Эстонии» // Via Dolorosa: Stalīnisma upuru liecības. — 1. sēj. — Rīga: Liesma, 1990. — 32. lpp.

## **ВЯТЛАГ**

Июль 2000 года. Я в Государственном архиве Латвии и держу в руках папку с коричневатой, тонкой бумажной обложкой. На ней по-русски начертано: «Дело № 13 207 по обвинению Дрейфедда Яниса Кристаповича»<sup>63</sup>. Дело начато 14 июня 1941 и окончено 3 марта 1942 года. В нем тридцать девять страниц.

Не могу собраться с силами и открыть «Дело» моего деда. Руки не поднимаются, дышать тяжело. Ведь я — первый из близких ему людей, кто увидит эти бумаги и узнает, что произошло после того, как бабушка Эмилия и моя мама Лигита были высажены на станции Бабинино из вагона и их муж и отец остался один. И какая тонкая папка! Невозможно поверить, что там, внутри, заключены страдания и смерть деда Яниса, шестнадцать лет ссылки моей матери и бабушки!

Открываю наконец. Первый документ — написанное 17 декабря 1941 года постановление об аресте. Я остолбенела. Как это понимать — постановление принято лишь 17 декабря, шесть месяцев спустя после фактически произведенного ареста! Быстро перелистываю последующие страницы — анкета арестованного, протокол допроса, решение о предъявлении обвинения, заключение обвинителя и т. д. Все датировано тем же самым 17 декабря. И затем следует серый, размером примерно 9 x 12 сантиметров клочок бумаги, на котором корявым почерком что-то написано. В смятении я успеваю увидеть только несколько слов и дату — 31. XII. 41. И я понимаю вдруг, что это справка о смерти моего дедушки!

<sup>63</sup> LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. 1., 51. lр.

- 74 -

Этот злополучный листок, вырванный из какой-то разлинованной амбарной книги, — документ, констатирующий смерть моего деда... Собравшись, пытаюсь разобрать слово за словом, однако расшифровать эти каракули не могу. Прошу помощи у историка Динара Бамбалса. Справка выдана в больнице 7 отдельного лагпункта Вятлага<sup>64</sup>, и в ней сказано, что Дрейфелд Янис Кристапович умер от крупозного воспаления легких и хронического миокардита 31 декабря 1941 года.

Опомнившись от первого соприкосновения с лагерной машиной смерти и ее примитивностью, я вернулась к первой странице и стала читать систематически и подробно. Запретила себе предаваться переживаниям. Мне нужно пройти дело моего деда с начала до конца, ибо меня еще ждут девять томов об отце моего отца Александре Калниетисе, а также дело матери отца Милды и самого отца, Айвара.

Однако на четвертой странице меня ожидал новый эмоциональный удар. В анкете заключенного рядом с подписью моего деда оказался отпечаток его пальца. Слезы сами выступили на глазах. Я приложила свою руку к этому отпечатку и представила себе, что наши руки соприкоснулись.

Обвинение моего деда составлял товарищ Виде, один из членов выездной группы НКВД Латвийской ССР. Под руководством печально известного капитана НКВД Яниса Веверса эта группа

с середины августа трудилась в Вятлаге и Усольлаге и с поразительной скоростью штамповала обвинительные заключения, чтобы передать их на рассмотрение Кировского окружного суда или Особого совещания наркомата внутренних дел СССР. Когда 17 декабря 1941 года т. Виде «ознакомился с имеющимися в его распоряжении материалами о преступной деятельности Яниса Дрейфелда» (доказательством преступной деятельности являлся тот факт, что дед владел четырехквартирным домом, имел около 12 000 латов годового дохода и еще одно хозяйство на

[64](#) Вятлаг, или советское учреждение исправительных работ К-231, представлял собой комплекс из более чем 20 лагерей. См. Vambals. 1940./41. gadā represēto latviešu virsnieku piemiņai (Памяти репрессированных в 1940/41 гг. латышских Офицеров) // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 1999. Genocīda politika un prakse. — Rīga, 2000. — 140. lpp.

- 75 -

селе), он «нашел целесообразным» в качестве меры пресечения применить к Дрейфелду Янису Кристаповичу до суда заключение в одном из лагерей Вятлага. Достойного следователя нимало не смутило то обстоятельство, что заключенный и без того уже находился там с 9 июля. По написании сего документа можно было ознакомиться с анкетой заключенного и приступить к допросу. Допрос длился всего лишь полтора часа — это позволяет надеяться, что деда не били и не пытали. Товарищ Видс интересовался, в каких организациях мой дед состоял, какие из них материально поддерживал, имеет ли он репрессированных родственников. В ответах допрашиваемого ничего пригодного для следствия усмотреть невозможно. Пора было задать обычный вопрос — об антисоветской деятельности. Дед таковую отрицал. Видс разгневался: «Вы не говорите правду! Расскажите, как вы выражали свое недовольство советской властью в Латвии»<sup>65</sup>. Дед возразил, что против советской власти ничего не имел. Товарищу Видсу этот тощий старик начинал действовать на нервы. Ох, тяжел труд чекиста! Месяцами приходится жить в нечеловеческих условиях, в каких-то вонючих лагерях, изо дня в день допрашивать всякий сброд, вшивых, больных, наверняка еще и заразных. Вдобавок и доказательства вины выдумывай сам! Задав рутинные вопросы о собственности, источниках доходов, следователь в анкете обнаружил нечто поинтереснее: у заключенного есть сестра, проживающая в России. Не тут ли поискать ниточку, ведущую к контрреволюционному заговору? Увы, похоже, что нет — связь с этой сестрой оборвалась в 1937 году. Очевидно, Александра Вилните разоблачена и понесла наказание. Это позднее придется проверить. Приближалось обеденное время, и Видс решил закругляться. Так 17 декабря 1941 года в 12.00 завершился допрос моего деда.

После обеда следователь заполнил остальные документы; таким образом, следственное дело было оформлено в

[65](#) LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. L, 5. lp.

- 76 -

соответствии с советскими процессуальными требованиями и готово к передаче Особому совещанию Народного комиссариата внутренних дел СССР. В обвинительном заключении говорилось: «Дрейфелд Янис Кристапович обвиняется в том, что ему принадлежал четырехквартирный дом с годовым оборотом в 1200 латов, сельское хозяйство с семью гектарами земли, торговое предприятие с годовым оборотом в 12 000 латов; эксплуатировался один рабочий»<sup>66</sup>. За это преступление предлагалось применить наказание — ссылку сроком пять лет в отдаленные области СССР. По сравнению с двадцатью годами лагерей или смертным приговором,

щедро раздаваемыми многим другим ссыльным, Виде прямо-таки проявил милосердие. Наверно, мой дед выглядел таким слабым, что многоопытный чекист решил — этот и так скоро сдохнет, что с ним возиться. И он не ошибся. Мой дед умер спустя четырнадцать дней.

Перелистываю снова тоненькую папку, плод усилий энкаведешника Видса, и думаю: почему советские юридические органы тратили столько сил на создание иллюзии законности, завесы, за которой скрывалось массовое уничтожение людей? Это ведь требовало времени, больших затрат и вовлекало в ненужную игру огромную армию служащих суда и госбезопасности. Проще, казалось бы, не притворяться и убивать без церемоний, без этих гор понапрасну истраченной бумаги — но нет, предписания советского процессуального кодекса соблюдались скрупулезно. И это придавало происходящему оттенок трагического сюрреализма. Беззаконно вырванные из дома, разлученные с семьей, измученные голодом люди принуждены были участвовать в нелепом разыгрывании «законности». Для правильного оформления дела требовалось шесть подписей обвиняемого. Сперва мой дед Янис подписался под решением о мере пресечения, примененной к нему. Затем своей рукой заполнил на русском

[66](#) Там же, с. 9.

- 77 -

языке анкету заключенного. Третья подпись под протоколом подтверждала: сказанное на допросе «записано с моих слов и зачитано мне по-латышски». Уже это одно не может не показаться странным — зачем зачитывать на латышском языке протокол допроса, записанного на русском, хотя Янис Дрейфедд прекрасно владел русским языком? Он вполне в состоянии был прочесть протокол сам или понять, если бы ему прочитали текст по-русски. Видимо, такова была формула, принятая следствием, или же так оно было практичнее: без лишнего шума можно было заставить кого угодно подписать что угодно. Большинство допрашиваемых русского не понимали, однако, на что косвенно указывает и случай моего деда, это никакого значения не имело. Добром или злом нужной подписи так и так добивались. Даже не надо было слишком стараться. Заключенные, шатавшиеся от слабости, апатичные, чаще всего не имели силы не то что сопротивляться, а даже и попросту возразить. Тех, кто не хотел подписывать бумаги сразу, били, пока не сдадутся. Непокорных в назидание другим оставляли на ночь на 50-градусном морозе. После этого продолжать дело не приходилось, ибо даже советское судопроизводство не довело абсурд до такой полноты, чтобы обвинять трупы. Следующим этапом судебной игры было предъявление обвинения, которое заканчивалось обязательным риторическим вопросом: признает ли подсудимый себя виновным «по существу предъявленного обвинения»<sup>67</sup>. Как будто у него оставался другой выбор! Разумеется, и мой дед, так же, как тысячи до и после него, признал себя виновным. Последняя его реплика в этом театре абсурда — подпись под протоколом об окончании следствия. Основной текст отпечатан типографским способом, а на оставленном свободном месте следователь торопливо дописал: «Дрейфедд Янис Кристапович дополнить следствие не желает и подтверждает данные им ранее показания»<sup>68</sup>. Дальнейшее разыгрывание правосудия моего деда не

[67](#) Там же, с. 7.

[68](#) Там же.

- 78 -

коснулось. Он умер раньше, чем его дело было рассмотрено Особым совещанием Наркомата внутренних дел СССР<sup>69</sup>, и постановлением от 25 марта 1942 года следствие прекращено, а дело сдано в архив. И так как Янис Дрейфелд не дождал до окончательного оформления уголовного дела, сочинение товарища Видса было объединено с первоначальным — заведенным 14 июня 1941 года делом о семье высылаемого Яниса Дрейфелда. Сюда включены уже и «высылаемые в административном порядке» Эмилия и Лигита Дрейфелде. Их имена, впрочем, даже не указаны на обложке. Уму непостижимо, но за шестнадцать лет ссылки мои бабушка и мама не заслужили даже своего персонального дела! Они шли в придачу, как неодушевленные предметы, как мебель, вписанные в дело главы семьи, и давным-давно умерший Янис Дрейфелд продолжал вплоть до 1957 года и позже определять судьбу всей семьи. В последний раз дело просматривал 29 декабря 1988 года заместитель министра внутренних дел З. Индриков. Чтобы выяснить, какова связь, активистки Народного фронта Латвии<sup>70</sup> Сандры Калниете с репрессированным Янисом Дрейфелдом<sup>71</sup>.

В правильно сочиненном деле по обвинению Яниса Дрейфелда ни словом не упоминается о том, что происходило между событиями на станции Бабинино и 17 декабря 1941 года, когда в нем сделана последняя запись. Тут ничего не найдешь о его жизни: как он оказался в Вятлаге? Куда делись вещи семьи, оставшиеся при нем? Что он ел и ел ли вообще? Во что был одет? Чем болел? Что стало причиной его смерти — дистрофия? Как он умер? Где похоронен? Советскому сюрреалистическому правосудию до этих реальных деталей нет дела. Оно занято классовый борьбой, а субъекты этой борьбы — люди его не интересуют. У меня нет другого выхода, как по крупицам — отрывкам из воспоминаний тех, кто пережил Вятлаг<sup>72</sup>, по исследованиям историков пытаться восстановить скорбный путь деда. Понимаю, эта

<sup>69</sup> Особое совещание НКВД было учреждением вне судебной системы, рассматривавшим дела и выносившим приговоры в отсутствие обвиняемых, заочно. Такой порядок действовал в СССР 35 лет, и приговоры Особого совещания были окончательными, не подлежащими обжалованию. См. Le Manuel du GOULAG. — Paris: Cherche Midi Editeur, 1997. - p. 95.

<sup>70</sup> Народный фронт Латвии (основан в 1988 году) — альтернативное коммунистической партии демократическое народное движение, поставившее себе целью восстановить независимость Латвии. 18 марта 1990 года на выборах в Верховный Совет ЛССР список НФЛ набрал необходимое число депутатских мандатов, и 4 мая 1990 года была принята Декларация о восстановлении независимости Латвийской республики. После восстановления независимости и образования многопартийной системы НФЛ постепенно терял влияние и в 1999 году самораспустился.

<sup>71</sup> LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. 1., 39.1p.

<sup>72</sup> Материалы, которыми я пользовалась при реконструкции: Berdinskis V. Atmiņas (Воспоминания). OMF, inv. Nr. 2514; Stradiņš A. Ērkšķainās gaitas (Тернистые пути). OMF, inv. Nr. 3009; Auzers R. Mēs vēl esam dzīvi. Mēs jums nepiedosim (Мы еще живы. Мы вам не простим) // Atmoda. — 1990. — 12. jūnijā; Sneiders J. Uz dzīvības robežas (На грани жизни и смерти) // Litera tūra un Māksla. — 1989. — 11. februārī.

- 79 -

реконструкция — всего лишь допущение, дед мог вовсе не быть в том самом месте и в тот самый момент, когда там оказывался другой мученик Вятлага. Пережитое им могло отличаться от пережитого другими, но в основных чертах должно быть много общего или похожего; и дорога

была та же для всех: от Бабинино до юхновского пересыльного лагеря, от Юхнова через Бабинино — в 7 отдельный лагпункт Вятлага.

В фондах Музея оккупации меня ожидало новое потрясение. В списках заключенных и погибших латышей, на этот момент самом полном перечислении всех вывезенных и умерших в лагерях жителей Латвии, я не нашла имени Яниса Дрейфелда. Даже эта последняя честь — быть в списке невинных жертв — была у него отнята. — Да, — успокаивала меня сотрудница музея, — что ж делать, имена моих родственников тоже пока что не обнаружены ни в одном из списков! — Значит, немало таких, как Янис Дрейфедд, чью смерть подтверждает справка в их личном деле, но, при царившем в лагерях хаосе, чье имя забыли занести в карточку оперативного учета или по недоразумению и невнимательности записали не туда. По данным НКВД, Янис Дрейфелд читался рожденным в России. Может быть, поэтому его имя вошло в список умерших в Вятлаге латышей? Только когда 2001 году вышел в свет составленный в Государственном Архиве Латвии сборник «Вывезенные», на его 560 странице наконец-то нашла имя своего деда<sup>73</sup>. Но и эта книга, должно быть, неполна — например, архивные дела видных государственных деятелей, дипломатов и генералитета все еще не доступны латвийским исследователям, а потому обстоятельства, время и место их смерти все еще неясны.

Вскоре после того, как Эмилия и Лигита были пересажены в другой эшелон и тот двинулся дальше, находившиеся в их

<sup>73</sup> Aizvestie (Вывезенные). 1941.gadal4.jūnijs/LVA. — Rīga:Nordik,2001. — 560.lpp. Имена Яниса, Эмилии и Лигиты Дрейфелдов можно отыскать также в издании These Names Accuse. Nominat List ofLatvians Deported to Soviet Russia in 1940—41. — Stockholm: LNF, 1982. — p. 94. Его составили и опубликовали представители латышского зарубежья, не имевшие даже возможности проверить свои данные в архивах. То было первое значительное на поминание миру о трагедии латышского народа.

- 80 -

прежнем вагоне мужчины получили приказ выходить. Вещи нужно было оставлять, сваливая в груду возле поезда. Вот как врач Янис Шнейдерс описывает происходившее: «... всех по очереди обыскивали, отнимая письменные принадлежности, ножи и даже пилочки для ногтей. У здания станции за отдельными небольшими столами сидели офицеры, им нужно было отдавать золотые и серебряные вещи, часы, украшения и проч. Вещи и чемоданы складывали грудой, а всех нас выстроили в колонну, по шестеро в каждой шеренге. Вокруг была стража — и пешая, и конная, в самом хвосте шествия еще и с собаками»<sup>74</sup>. Наверняка в такой же колонне те километры, что отделяют Бабинино от Юхнова, прошагал и мой отец. В воспоминаниях бывших лагерников об этом расстоянии говорится по-разному. Одни называют 15 километров, другие — 30 или 40. Эти различия значимы. Они отражают степень усталости человека или его психологическое состояние.

Колонна заключенных брела по утопанной множеством ног, местами превратившейся в топкое месиво дороге. В них еще оставалась прежняя, в Латвии набранная сила. Правда, жажда мучила: пить не давали. Шагнуть в сторону или отстать тоже нельзя было. Их предупреждали: шаг в сторону, шаг назад — тут же стреляем. Слабых подталкивали ударами приклада. Кому-то выбивая зуб, кого-то лишь наградив синяком. Хоть бы не досталось моему деду этих ударов, ведь никаким здоровяком он к тому времени уже не был... После долгих, кажется, нескончаемых часов пути внимание ссыльных привлек вороний грай. Словно черная туча вилась над зданиями, видневшимися вдали. Колонна приближалась к юхновскому пересыльному лагпункту,

размещенному в бывшей помещичьей усадьбе. До латышей здесь жили польские офицеры из оккупированных Советским Союзом областей Польши. Вновь прибывших согнали на замусоренный

[74](#) Šneiders J. Uzdzīvības robežas // Literatūra un Māksla. — 1989. — 11. februāri.

- 81 -

огород; осколки битого стекла хрустели под ногами. Началась перерегистрация и повторный обыск. Вороны как оглашенные каркали, кружа над головами обреченных. Земля перекопана. В воздухе — сладковатый запах. Взвинченным людям почудилось, что это трупный смрад, они спрашивали себя и других: неужели конец? Неужели здесь их ждет смерть? У одного не выдержали нервы — он выхватил спрятанный под одеждой нож и, размахнувшись, ударил себя в висок. Хлынула кровь. Охранники закричали: «Лежать! Стреляю!» Истекая кровью, несчастный сделал несколько неверных шагов и рухнул наземь. Вот и Юхново освящено латышской кровью... Опомнившись от неожиданности, надзиратели продолжили регистрацию, составляя из заключенных сотни. Каждую законченную сотню отсылали в лагерь. Волнение несколько унялось — похоже, сразу расстреливать не станут! Всего сформировали восемь сотен [75](#). Рядом на специально огороженной территории находились примерно 300 офицеров латвийской армии и еще одна — женская группа.

В Юхнове, на пересылке, наступил вечер Лиго — народный латышский праздник летнего солнцеворота — и, вопреки всему, люди готовились его отметить. Среди хлама, разбросанного по лагерю, нашлась металлическая бочка. В ней развели Янов огонь и собрались вокруг. Как бы ни было тяжело на сердце, нельзя поддаваться отчаянью, и люди пели, бодрясь друг перед другом. Глядя на товарищей по несчастью, Янис Дрейфелд старался незаметно проглотить комок, вставший в горле. Он так тосковал по жене и детям. Вспомнилось, как праздновали Лига год назад. Его любимица, Лигита, в тот раз заставила их поволноваться! Янис и Эмилия встречали вечер Лиго вместе с соседями у доктора Озолиньша. Когда ближе к рассвету, нагулявшись и напевшись вволю, они вернулись домой, обнаружилось, что Лигиты нет. Ну и переполошились они! Дочка ушла из дому, не сказав ни

[75](#) Там же.

- 82 -

слова служанке. Когда спустя несколько часов грешница, раскрасневшаяся и счастливая, вернулась, ей, против обыкновения, досталось от Яниса: как она посмела! Без разрешения! Эмилия пыталась было мягко вступить за дочь, но в этот раз муж не поддавался на уговоры. Пережитая тревога, досада на своеволие девчонки сделали его неумолимым. И приговор был готов: никаких гулянок всю следующую неделю! Лигита обиженно всхлипывала: она ведь не сделала ничего дурного! Просто с подружкой Айной они решили обойти Яновы костры на морском берегу. Немного погуляли, потом пошли спать в сенник Айниной матери. Выкрикнув это все сквозь слезы, дочка бросилась наверх, в свою комнату. Эмилия, кинув на мужа осуждающий взгляд, последовала за ней... Скоро вся злость Яниса испарилась. Глупый ребенок, вот и все. Тут за окном раздалась песня... Как всегда в Янов день, музыканты собрались под окном, чтобы поздравить Яниса с именинами. Заслышав музыку, Эмилия и Лигита тоже забыли недавнюю размолвку. Эмилия спустилась вниз, подошла к окну, приподняла краешек занавески. «Их шестеро», — шепнула она мужу. Теперь Янис знал, сколько денег вынести музыкантам. Лигита

сообразила: настал самый подходящий момент, чтобы помириться с отцом, и, обвив его шею руками, прошептала: «Прости, папочка!»... Эмилия, Лигита — где теперь они обе? Что с ними? Глаза затуманило слезами. Янис встряхнулся, набрал в легкие воздуха. Нельзя предаваться воспоминаниям. Нельзя отчаиваться. Это безумие не может продолжаться вечно, жизнь вернется в нормальную колею. Только нужно верить и ждать. Ждать и верить.

На Янов день прошел слух, что началась война. Одному из заключенных удалось купить у какого-то шофера газету, и вот уже из уст в уста передавалось: Германия 22 июня напала на Советский Союз. Волнение охватило всех. Война

- 83 -

для кого-то была страшной бедой, а для них — переменной, шансом на освобождение, на возвращение в Латвию. Кто-то, размахивая руками, доказывал, что русским долго не продержаться, самое большее — два-три месяца, а там кончится война, а с ней и власть Советского Союза над Латвией. Откуда-то со стороны Смоленска иногда доносилась отдаленная пушечная канонада. И в лагере все свидетельствовало о нарастающем напряжении — громкоговорители сняли, хлебные порции уменьшились, грубость и жестокость охранников, наоборот, возросли, сосланных латышей все чаще называли «фашистами». 25 июня лагерников начали вывозить неведомо куда, и остававшиеся мучительно гадали об их и своей судьбе. Снова прошел слух о расстрелах. В иных вновь проснулась надежда: может быть, наконец повезут туда, где их ждут жены и дети? 29 июня последние сотни оставили юхновский пересыльный пункт. Значит, где-то в этих числах, в промежутке от 25 до 29 июня, и мой дед вновь был поставлен в строй и в сопровождении вооруженной стражи приведен в то же Бабинино. Там им позволили взять кое-что из вещей, оставленных под открытым небом неделю назад. Все, конечно, вымокло под дождем, все много раз переложено, перевернуто другими лагерниками. Не сомневаюсь, что в заботе об Эмилии и Лигите мой дед старался захватить побольше сколько-нибудь пригодных к использованию вещей. Затем их загнали в вагон. Не знаю, был ли это «телятник», в каких «транспортировали» по полусотне заключенных, или большой пульмановский вагон, — в такие запикивали до 90—100 человек. От Бабинино до Москвы всего 215 километров, но состав с заключенными, пущенный по обходным путям и подолгу простаивавший на станциях и полустанках, добирался до нее два-три, а то и пять дней. Стоять приходилось и пропуская встречные поезда — бесконечной чередой катили на Запад составы с солдатами и вооружением. Стоял нестерпимый зной. Есть не давали.

- 84 -

Не хватало воздуха и питьевой воды. От жажды и жары люди нередко теряли сознание. Заключенные были совершенно изолированы от внешнего мира и не знали, что происходит на фронте. На станциях молчали даже уличные репродукторы. Врач Шнейдерс вспоминает, что в Москве через щелку в вагоне увидел аэростат воздушного заграждения — значит, немецкие самолеты уже угрожали Москве?

Из Москвы им предстояло ехать по маршруту Горький—Котельнич—Киров. В Кирове поезд стоял несколько дней, и все это время они были заперты в вагонах. Затем состав двинулся в северном направлении, к станции Рудницкая, где начинались лагеря Вятлага. Первые сосланные из Латвии достигли места назначения 9 июля, большая их часть оказалась на месте 10 июля, последний состав прибыл не позднее 13 числа. Всего к осени 1942 года в Вятлаге находился 3281 бывший житель Латвии<sup>76</sup>. Из рассказанного Шнейдерсом я узнала подробности о 7 лагпункте Вятлага, в

котором вначале обреталось большинство латышей и где был заключен мой дед. Возможно, они даже знали друг друга: будучи врачом, Шнейдерс старался облегчить страдания слабых и больных, таким образом, познакомившись со многими ссыльными. По прибытии всех снова обыскали, построили, предварительно приказав сдать все взятые с собой вещи: их возвратят после освобождения. На сданное имущество выдавали квитанции, отобранные при первом же обыске. Каждый раз, когда я слышала от мамы, что вещи, взятые на всю семью, остались при отце, я себя успокаивала: ну, по крайней мере, ему-то онигодились — одеться потеплее, обменять что-то на еду. Ничего подобного. Вещи были разворованы или же их бессмысленно сгноили на каком-нибудь складе, в то время как мой дед в Вятлаге, моя бабушка и мама в Сибири мерзли и голодали.

[76](#) Vambak A. 1940./41. gadā represēto latviešu virsnieku piemiņai (Памяти репрессированных в 1940/41 гг. латышских офицеров) // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 1999. Genocīda politika un prakse. — Rīga: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2000. — 140. lpp.

- 85 -

Отобрав вещи, заключенных развели по деревянным баракам. Там их ждали голые дощатые нары, в щелях которых затаились пребывавшие в голодной спячке клопы. Почувяв человеческое тепло, они ожили и тысячами облепили новичков. Бараки были грязные, на полу валялись мусор и всякие отбросы. Под нарами сложены дрова. Хотя печка-чугунка зимой топилась днем и ночью, стены барака покрылись наледью<sup>77</sup>. Ночью барак запирали снаружи; для отправления естественных надобностей заключенным служила параша — огромная металлическая бадья, которую двое лагерников выносили по утрам. Казалось, запах мочи и экскрементов, висевший в воздухе, въелся во все — в одежду, у, в тело. Смерд был таким стойким, что сопровождал заключенных и вне барака, даже на лесоразработках. Оборудованные на территории лагеря уборные также не очищались, и в зимнее время там нарастали целые горы кала. Рабочий день начинался в шесть утра и заканчивался в семь вечера. Иногда приходилось работать и ночью. Перед работой заключенных выстраивали, затем под охраной гнали в лес. Тем, кто выполнял норму, полагались продуктовые талоны, на них выдавали миску жидкой похлебки или черпак каши с кусочком хлеба. Иной раз к этому добавлялась вобла. Не выполнившего норму ждал карцер — холодный, темный, почти без еды. В целях «перевоспитания» виновного охрана не стеснялась применять и телесные наказания.

По лагерным правилам, заключенные Вятлага делились на три категории. В группу «А» попадали пригодные к тяжелому и среднему физическому труду. В группе «Б» — по лагерной терминологии, «работающей слабосилке», состояли заключенные, используемые для подсобных работ в самом лагере. В третью, «В» группу зачислялись инвалиды, больные и те, кто еще находился под следствием; их, однако, все

[77](#) Эти детали отмечены в акте обследования барака, проведенного 20 января 1939 года. Сомнительно, чтобы ситуация в 1941 году изменилась. А если изменилась, то наверняка к худшему. См. Берлинский В. Вятлаг. — Киров: Кировская областная типография, 1998. — с. 22.

- 86 -

равно то и дело привлекали к тяжелым работам. К последней группе, надо думать, принадлежал и мой дед Янис. Соответственно категории предусматривался и паек в мирное время. В группе «А» выполнивший норму получал 500 граммов хлеба, в группах «Б» и «В» — 400 граммов<sup>78</sup>.

Теоретически лагерники двух первых категорий за хорошую работу и превышение нормы могли получать дополнительную пайку, однако очень скоро люди поняли, что лишний кусок хлеба не восполняет затраченную энергию. заключенным третьей группы такой возможности не давали. С началом войны администрация лагеря самовольно уменьшила хлебные выдачи, так как снабжение провиантом сделалось нерегулярным. заключенные оказались еще более изолированными от внешнего мира: охрану усилили, радиорепродукторы отключили, газеты в лагерь уже не поступали, свидания с родственниками, переписка, передачи и посылки были запрещены<sup>79</sup>. Лагеря стали островками ужаса в море снега и льда. Ссылным из Латвии приходилось жить в одних бараках с уголовниками, в том числе и убийцами. Образованнейших и талантливейших представителей нации вынуждали не только подчиняться жестокостям охранников, но и бороться за выживание в криминальной среде, где царили свои законы. Притом администрация лагеря «для поддержания порядка» прибегала к услугам уголовных преступников и закрывала глаза на свинства, творимые ими против «интеллигентишек» и «контры».

Янису Дрейфелду было 63 года. Уже до ссылки появились первые признаки старения; для деда, как и для всех тех, кто обладал железным здоровьем и недюжинной физической силой, это было потрясением. Он ворчал в ответ на предостережения жены: не передай, одевайся потеплее... И в самом деле, он был склонен к простудам. В Сибири Янис оказался непригоден ни к лесозаготовкам, ни к другим

[78](#) Там же, с. 24.

[79](#) Там же, с. 26.

- 87 -

тяжелым работам. В первое время, может быть, его и хватало на легкие работы внутри лагеря, но вскоре, вконец ослабевший от холода и голода, он заболел. Из воспоминаний других заключенных я узнала, что первые признаки истощения появились уже в начале августа — чирьи, гнойные язвы, цинга. Чтобы хоть как-то спастись от авитаминоза, заключенные пили хвойный отвар. Наверное, моего стройного, видного собой деда лагерные условия изменили до неузнаваемости; некоторые распухали от голода, другие поражали худобой — кожа да кости. Пережившие Вятлаг и ближайший к нему Усольлаг латыши подтверждают, что зима 1941/42 гг. была самой страшной. заключенные за эту зиму теряли половину веса; некоторые из взрослых мужчин весили всего 35 килограммов<sup>80</sup>. По материалам, собранным экспедицией «Вятлаг — Усольлаг'95», за год, с июля 1941 по ноль 1942 года, умерли 2337 жителей Латвии. Из них 1603 человека, так же, как мой дед Янис, скончались уже во время следствия<sup>81</sup>.

Таких, как мой дед, «забалансовых инвалидов» лагерное начальство считало бесполезным балластом, портящим «производственную статистику»; оно было прямо заинтересовано, чтобы эти «дармоеды» побыстрее умирали — тогда эту часть живого инвентаря можно было списать. Озабоченность местного руководства выглядит вполне государственной, в Советском Союзе планировали все. Производственный план лагеря зависел от числа заключенных. В свою очередь, работа начальника каждого лагеря оценивалась по его умению выжать из заключенных как можно больше и выполнить производственный план. Там, наверху, никого не интересовали оправдания, возражения типа: «рабочая сила» не работает без достаточного питания, самой

необходимой одежды и минимального отдыха. С началом войны и без того непомерно долгий рабочий день был еще удлинён<sup>82</sup> — военной

[80](#) Там же, с. 25, 26. — Ставшая сегодня доступной статистика смертности заключенных в Вятлаге подтверждает: первый военный год собрал самый страшный урожай смертей. 15 июля 1941 года — сразу после прибытия эшелонов из Латвии — в Вятлаге насчитывалось 17 890 заключенных. К 1 января 1944 года число это снизилось до 11 979 человек. В сравнении с довоенным периодом группа «В» — самые слабые, нетрудоспособные заключенные — увеличилась более чем в три раза — с 7 до 24,4 процентов, а в первой, «А» группе оставалось всего около 15 процентов.

[81](#) Grmberga M., Brauna A. Nomocīto sarakstus dabū neoficiāli (Списки замученных получены неофициальным путем) // Diena. — 2000. — 14. jūnijā.

[82](#) Бердинский В. Вятлаг. — Киров: Кировская областная типография, 1998. - с. 26.

- 88 -

промышленности срочно требовались лесоматериалы и дрова. В связи с войной уменьшился и приток заключенных: люди были нужны на фронте, и это на время притормозило борьбу с «внутренними врагами». Спущенный сверху производственный план руководство лагеря должно было выполнить при наличном количестве людей. Насколько чудовищны были условия заключения, можно понять из речи, произнесенной начальником Вятлага Н. Левинсоном на заседании районного партийного актива. В лагерях нет света, тепла, сушилок, бань, матрасов на нарах. Заключенные работают до изнеможения, по 16 часов в сутки. Продукты на кухне разворовывают, и обитатели лагерей не получают даже уменьшенный паек. Люди массами обмораживаются «из-за раздетости и разутости»<sup>83</sup>. Не будем наивными: Левинсон вряд ли был гуманистом, бескорыстно ратовавшим за улучшение жизненных обстоятельств заключенных. Нет, он боялся за себя — ведь при сталинском режиме никто не был застрахован от ярлыка «вредителя и врага советского народа». Опытный чекист понимал, что раздетый и голодный человек не сможет выполнить план и ответственность за это падет на него.

Когда в феврале 1989 года был опубликован составленный врачом Шнейдерсом список 409 латышей, умерших в Вятлаге<sup>84</sup>, в нашей семье, так же, как в других семьях ссыльных по всей Латвии, жадно читали эти строчки, ища имена своих. Этот список для многих был первой вестью о погибших близких. Фамилии Дрейфелда там не оказалось. В момент публикации списка мы вообще ничего не знали о судьбе деда Яниса; точно так же он мог умереть в каком-нибудь другом из лагерей «необъятной советской Родины». И лишь в июне 1989 года моя мама набралась храбрости и обратилась в КГБ за сведениями об отце. В ответе, полученном 21 апреля 1990 года, сказано: «Дрейфелд Янис, сын Кристапа (Криша), 1878 г. рождения, с 14 июня 1941 года находился в заключении, умер в Вятлаге 31 декабря 1941 года,

[83](#) Там же.

[84](#) Šneiders. Uz dzīvības robežas // Literatūra un Māksla. — 1989. — 11. februārī.

- 89 -

реабилитирован 6 апреля 1990 года». Что такое Вятлаг, я узнала позже. Мой отец был вместе с врачом Шнейдерсом в 7 лагпункте до 14 августа, когда последнего в числе других 900 латышей

перевели в 11-й лагерь на лесозаготовки. Список умерших, составленный Шнейдерсом, ведется с 26 августа. То есть уже после того, как врач оставил 7 лагпункт.

В справке о смерти Яниса Дрейфелда написано, что он умер от хронического миокардита сердца и крупозного воспаления легких. Этот диагноз фиксирован почти во всех официальных заключениях о причинах смерти. Свидетельства врачей, оказавшихся в Гулаге, в особенности уникальный список Шнейдерса, в котором обобщены данные об умерших в Вятлаге, в лагере заключенных, так же как рассказ врача Сильвестра Чаманиса<sup>85</sup>, неоспоримо доказывают, что причиной болезней и смерти были нечеловеческие условия жизни, голод и вызванная им дистрофия, авитаминоз и тяжелый, непосильный труд. Наиболее распространенной причиной смерти называли энтерит и энтероколит. За ними следовали менингит, пневмония, воспаления легочной плевры и суставов; в лагерных условиях к смерти быстро приводили также туберкулез, инсульты, нефрит, отиты, дистрофия. Похожую картину рисуют в своих воспоминаниях и другие бывшие заключенные. Медикаментов в санчасти, можно считать, не было, и умирающих не удавалось спасти. Санитарную часть называли мертвецкой. Туда отсылали самых слабых, безнадежных. Те, кто попадали туда, знали и сами, что идут умирать. Оттуда люди не возвращались.

И Янис Дрейфелд догадывался, что близок его последний час. О чем думал мой дед на смертном одре? Самыми мучительными, конечно, были мысли о семье. Он ничего не знал о судьбе жены и дочери<sup>86</sup>. В первый год войны какие-либо контакты с внешним миром запрещались, и у

<sup>85</sup> Рассказ врача Сильвестра Чаманиса в фильме "Экспедиция Вятлаг — Усольлаг'95», режиссер И. Лейтис.

<sup>86</sup> В 2003 году бывший заключенный Вятлага Альфред Пушкевич привез мне из Кировского архива копию следственного дела Яниса Дрейфелда № 41468. В нем обнаружилось заявление, написанное Янисом 22 сентября 1941 года, в котором он просит администрацию лагеря сообщить ему о судьбе Эмилии и Лигиты Дрейфелд. На заявлении есть резолюция: «Ответьте, что розыском родственников органы НКВД не занимаются».

- 90 -

Яниса сжималось сердце, когда он представлял себе, что Эмилия и Лигита терпят такие же муки в каком-нибудь из лагерей и, быть может, уже мертвы. И почему бы ему думать иначе — ведь и среди заключенных Вятлага были женщины. Когда 17 декабря его вызвали на допрос — разве следователь Виде способен был проявить милосердие и сообщить «эксплуататору и социально опасному элементу» хоть что-нибудь о его жене и дочери? Нет, разумеется. Янис Дрейфелд умирал, ничего не зная ни об Эмилии и Лигите, ни о своих сыновьях Вольдемаре, Арнольде и Викторе. А может, и они в некий день, известный лишь энкаведешникам, загнаны в вагоны для скота и увезены в Сибирь? Янис Дрейфелд всегда чувствовал себя ответственным за семью. Не винил ли он себя в происшедшем? Возможно, с того самого дня, 14 июня 1941 года, с той ночи и до смертного часа дед упрекал себя снова и снова, что не поверил предупреждению железнодорожника Швехеймера и ничего не сделал для спасения своей семьи. Они ведь могли бы укрыться в Кемери или у братьев Эмилии неподалеку от Лиепайи. А если ее братья тоже давно в Сибири? Может, все латыши уже в Сибири и народа больше нет? Так же, как нет больше Латвии...

Янис Дрейфелд умирал в декабрьскую стужу. Последний день старого года, — по советской традиции он отмечается особенно. Праздник так праздник — охранники изрядно выпили. Водка размягчила заскорузлые души и развязала языки. Они проклинали судьбу, приведшую их в этот

богом забытый край, запамятовав на время, что именно теперешняя служба спасла их от верной гибели на поле боя. Время от времени кто-то заводил песню, долгую, полную славянской беспредельной тоски. Они тоже были люди, и им тоже хотелось красивой жизни. Той, которую обещал советским людям Иосиф Виссарионович Сталин. Там, далеко, за стенами московского Кремля он, небось, и теперь, глядя на

- 91 -

богато украшенную новогоднюю елку, неустанно думал обо всех, в том числе и о них здесь, в Вятлаге.

Янис Дрейфедд умирал один. В помещении, переполненном другими умирающими. Кто-то молился, кто-то проклинал судьбу. Кто-то звал в бреду жену и детей. Умерших, sine не успевших остыть, раздевали донага, их одежду пропаривали и отдавали другим, еще живым лагерникам. Каждому трупу полагался проволочный ошейник с деревянной биркой, на которой значился номер дела заключенного. Заем нагими телами нагружали телегу и отвозили их к яме, долбленной в мерзлом грунте, кидали в нее и забрасывали сверху обледенелыми комьями земли. Даже после смерти мученикам не возвращали их имя и фамилию. Из живого инвентаря они становились инвентарем неживым.

Прах моего деда покоится недалеко от 7 лагпункта. Место захоронения латышей могут указать только старейшие жители ближнего поселка Лесное. Ветер принес на землю, раздобревшую на погребеньях, семена березы, теперь там роща, деревья шелестят листвой, невинно радуясь короткому северному лету.

В 1995 году в места, где мучились латыши, отправилась экспедиция «Вятлаг — Усольлаг'95». В паломничестве принимали участие бывшие узники — Илмарс Кнагис и Альфред Пушкевиц, сыновья умерших в Вятлаге, историк Айнарс Бамбалс, а также Зигурд Шлиц и оператор Ингварс Лейтис. В центре Вятлага на взгорье у поселка Лесное 16 августа они становили вырубленный и просмоленный ими самими 6-метровый деревянный крест. Под ним закопан керамический кувшин с горстью земли, взятой из Риги, у Большого сета на Лесном кладбище. Горсть земли из Вятлага участники экспедиции доставили в Латвию и высыпали на Лесном

- 92 -

кладбище у Большого креста — и она смешалась с такими же горстями, привезенными из рассеянных по всему Гулагу латышских захоронений. В подножье креста, установленного в Вятлаге, впамята бронзовая таблица с надписью на латышском, русском и английском языках: «Гражданам Латвийской Республики — жертвам коммунистического террора. Латвия 1995».

Крест возвышается над вырубленными лесами, где полегло когда-то столько заключенных, и над поселком Лесное, в котором живут и потомки чекистов. Некоторые из них до сих пор охраняют Вятлаг — исправительное учреждение закрытого типа К-231. Седьмой лагерь, место страданий моего деда, сгорел. Вокруг поселка Лесное — торфяные болота, площадь которых увеличилась после беспощадной вырубке лесов во времена расцвета Гулага. Дороги осенью раскисают и становятся непроходимыми. Так же, как во времена депортированных из Латвии 14 июня 1941 года мучеников, снег здесь выпадает в сентябре, и вскоре температура достигает сорока-, даже пятидесятиградусной отметки ниже нуля. В центре поселка по-прежнему стоят памятники Ленину

и Дзержинскому, а на могильных плитах официального кладбища можно прочесть имена чекистов сталинского времени, надзирателей, следователей и мучителей моего деда и сотен, и тысяч других. Их наследники, кажется, так и не поняли, что понятия «коммунизм» и «террор» неразделимы.

### **ПРОШУ МЕНЯ РАССТРЕЛЯТЬ ИЛИ ОПРАВДАТЬ**

8 мая 1945 года в 23.01 адмирал Дениц подписал безоговорочную капитуляцию нацистской Германии перед победителями-союзниками. Немецкие войсковые группировки в Курземе и в Чехословакии сдались только на следующий день, поэтому в Советском Союзе праздник Победы всегда отмечали 9 мая. Мой дед Александр Калниетис в момент капитуляции находился в Курземе, недалеко от поселка Ване. На последнем этапе войны он служил автомехаником в штабе 6 корпуса 19 латышской дивизии. Когда вечером 7 мая солдатам сказали, что они могут отправляться на все четыре стороны, Александр с другими однополчанами пытался на грузовике добраться до Вентспилса, надеясь на каком-нибудь судне бежать из Латвии. Ближе к Вентспилсу от людей, ехавших навстречу, стало известно, что кораблей там уже не осталось. Даже ветхие, прохуdivшиеся посудины угнаны в море. Александр не мог решить, что же делать дальше. В Риге появляться рискованно, там уже повсюду хватали таких «изменников Родины», как он. В Курземе пока еще царила путаница, так что, пожалуй, лучше было остаться здесь. Прежде всего следовало переодеться: разгуливать теперь в форме легионера было бы безумием. В чьем-то брошенном доме Александр нашел подходящую одежду. Теперь можно вздохнуть спокойней. Недалеко от дома он обнаружил легковой автомобиль. Тоже брошенный, ничейный. Двигаться машина поначалу не желала, но в баке оставался бензин. Добрый знак: видно, не все еще потеряно. Александр быстро привел в порядок мотор и решил еще раз попытать счастья в Венспилсе. Если б удалось

- 122 -

как-нибудь добраться до Швеции! Не удалось. Несколько дней он бродил по городу. Немцы не успели вывезти войсковые склады, и их содержимое — всякое добро, продукты, водка — были доступны всем и каждому. Происходящее напоминало пир во время чумы: люди пытались утопить в спиртном свои беды, свое отчаяние. То были поминки по Латвии, в которых участвовал и Александр. Он пил, проклиная обе войны, разрушившие его жизнь. Первая отняла родителей, вторая — все подряд: родину, здоровье, семью. Он пил до беспамьятства, он и хотел забыть, забыться, ничего не чувствовать... Проснувшись наутро, Александр решил уходить, да и пора было: по городу уже катили первые советские машины. Единственным спасением был лес. Так мой дед оказался среди лесных братьев.

Лес не был сознательным и свободным выбором Александра. Выбора у него, как и у других легионеров, собственно, не оставалось<sup>119</sup>. Он служил в немецкой армии и по советским меркам считался безусловно изменником Родины. Зная, как в Страшный год чекисты расправлялись с совершенно невинными людьми, Александр мог себе вообразить мучения, ожидавшие «предателей». Кого интересует, что в 1941 году он стал автомехаником в немецкой войсковой части по распоряжению Управления работ<sup>120</sup>. Надо же было как-то зарабатывать на жизнь. Позднее, в марте 1944 года, его мобилизовали в латышский легион, не приняв во внимание даже то, что его левое легкое было поражено туберкулезом в активной стадии. Он не мог, как некоторые штатские, скрыться на селе у родни или дезертировать. Он уже работал в войсковых

механических мастерских, в случае отказа его ожидал военный суд<sup>121</sup>. В январе 1945 года Александра в связи с состоянием здоровья освободили от военной службы, но послали на работы в Германию. Незадолго до конца войны, 22 марта моего деда снова мобилизовали и направили в

[119](#) Сразу после капитуляции в курземские леса ушло около 4000 человек. По советским оперативным данным, после войны, с 1944 по 1956 год в движение сопротивления было вовлечено примерно 20 000 человек. См. Strods H. Latvijas nacionālo partizāņu karš. 1944—1956 (Война национальных партизан Латвии. 1944—1956). — Rīga: Preses nams, 1996. — 158. lpp.

[120](#) По распоряжению от 15 августа 1941 года все жители должны были регистрироваться в Управлении работ. Введенная немцами система контроля позволяла следить за тем, чтобы ни один «туземец» не уклонялся от труда. См. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914— 1945. — Stockholm: Daugava, 1968. — 938. lpp.

[121](#) Согласно данным о призванных в легион в 1943/44 годах, примерно 18% призывников уклонялись от мобилизации. 15.07.1944 Еккельн объявил на территории Остланда тотальную мобилизацию, призыву подлежали примерно 50% мужчин в возрасте от 16 до 55 лет. В этот период случаи уклонения от призыва заметно участились. См. Neiburgs U. Latviešu karavīri Vācijas un PSRS armijās: galvenās problēmas // Latvija Otrajā pasaules karā. Starptautiskās konferences materiāli, 1999. gada 14.—15. jūnijs, Rīga. — Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. — 197.— 204. lpp.

- 123 -

19 дивизию, отчаянно оборонявшуюся в Курземском мешке. Война отняла у него, как у миллионов других людей, возможность самому распоряжаться своей жизнью.

Достоверных сведений о том, где и с кем был тогда Александр, нет. После ареста, когда его допрашивали и терзали заплечных дел мастера, выбивая из упряма имена и местопребывание лесных братьев, дед многократно менял показания. Однако, начиная с третьего допроса, его рассказ приобретает некоторую устойчивость. Несколько дней после ухода из Вентспилса Александр бродил в одиночку, пока не встретил товарищей по несчастью. Основательно выпросив незнакомца, они предложили Александру присоединиться к группе, фигурирующей в чекистских документах под именем «Силе» — в переводе на русский «Бор». В этом самом «Бору» он оставался до середины июля, затем перешел к Ольгерту Стурису по прозвищу Лабиецис; его люди действовали в Кулдигском районе. В середине августа Александр находился уже в Бирзгале; оттуда осенью, в конце октября отправился в Ригу — навестить своих. Дед умолчал на допросах о том, что вместе с другими партизанами переправился на другой берег Даугавы у Юмправы и с начала сентября был в Видземе. Очевидно, Александр боялся навредить многочисленным родным Милды, жившим ближе к Страупе; их могли заподозрить, вызвать на допрос, а может быть, и арестовать. По возвращении в Ригу Александр кое-что рассказывал о пережитом моему отцу. В Видземе опорным пунктом партизан был дом «Цеплиши». Там ненадолго он мог снова почувствовать себя человеком — поесть, попариться в бане, облачиться в чистую рубаху и спокойно выспаться. Однажды вечером в конце октября, когда после бани мужчины стали устраиваться в сеновале на ночлег, снаружи раздались выстрелы. Сарай окружили чекисты. Не медля ни секунды, Александр выскочил в сенной люк. Упал,

- 124 -

перекувыркнулся и, петляя, помчал к ближайшему леску. Пули свистели справа и слева, но сумасшедший бег продолжался. В белом исподнем белье он был хорошей мишенью, и меж кустов его гнали, как зайца. Однако чудеса случаются — Александр спасся.

В лесу мой дед без сил свалился наземь и долго лежал на холодном, мокром мху. Он был жив — надолго ли? Осень кончается. Впереди холодная зима. А у него ни одежды, ни обуви — только подштанники да рубаха. Александра трясло, напомнил о себе туберкулез: его легкие не годились для суровой лесной жизни. Дед устал скрываться, ночевать в сараях и ямах. Нигде не было покоя. После капитуляции курземской группировки русские согнали всех мужчин от 16 до 60 лет в фильтрационные лагеря<sup>122</sup>. А затем начали прочесывать леса, чтобы выгнать из них «бандитов». Одно время казалось, что в Видземе будет спокойнее, однако и здесь вскоре акции против лесных братьев участились. Александр не верил разговорам о близкой помощи англичан или американцев. Все это лишь пустые домыслы. После того, как союзники допустили русских в Европу и выпросили советскую помощь в войне против Японии, с какой стати они будут портить отношения с могучим Советским Союзом ради каких-то там жителей Балтии. Нет, жизнь в лесу ничего доброго не сулила. Надо уходить в Ригу. Там народу много, авось удастся где-нибудь укрыться и перезимовать. Александр не особенно рассчитывал на помощь Милды, в последний раз они простились более чем холодно. Слишком часто он обижал жену, чтобы ждать прощения. Только вот неудержимо тянуло хотя бы разок взглянуть на сына Арниса.

Ранним утром Александр отважился постучаться в окошко придорожного дома. Вся волость уже знала о перестрелке в «Цеплиши», люди боялись, что вот-вот истребители нагрянут

<sup>122</sup> Strods H. Latvijas nacionālo partizāņu karš. 1944—1956. — Rīga: Preses nams, 1996. — 129. lpp.

- 125 -

и к ним. Александру дали кой-какую одежонку из грубой мешковины, сунули хлеба на дорогу. Только бы уходил скорее, подальше от греха. Дед и сам спешил укрыться в лесу, там безопасней. Так, переходя из леса в лес, он начал продвигаться в сторону Риги. Быстро идти Александр не мог — у него не было обуви. Чтобы хоть сколько-то защитить ноги от холода, острых сучьев и колючек, он обмотал их тряпками, собранными у заборов. Хлеб, данный ему в дорогу, быстро таял, голод давал себя знать, однако приближаться к незнакомым домам дед опасался. Однажды, завидев идущего навстречу крестьянина, Александр решил заговорить с ним и попросил чего-нибудь съестного. В ожидании его возвращения Александр спрятался — хотел убедиться, что за ним нет хвоста. Нет, все было в порядке, и беглец, наконец-то, смог поесть. У кладбищенской ограды в Лигатне дед закопал свой парабеллум. Позднее он рассказал моему отцу, как найти его, и просил перепрятать оружие. На следующее лето Айвар нашел пистолет, привез в Ригу и спрятал в доме на улице Менесс, на чердаке. Может быть, там он и лежит до сих пор. Александр пришел в Ригу 30 октября.

Был поздний вечер, когда у дверей раздался звонок. Мой отец вздрогнул. Он был один в доме: Милда дежурила в больнице, Арнис жил за городом, у бабушки Матильды. В послевоенной Риге столь поздний звонок не сулил ничего доброго. «Кто там?» После секундного молчания из-за двери послышалось тихое: «Отец». Айвар торопливо отворил дверь. Свет, упавший из кухни на

лестничную площадку, выхватил из тьмы фигуру Александра. Вид у него был пугающий — в какой-то грязной мешковине, с двуручной пилой за плечом. Заросшее бородой лицо частью закрывала странная шапка на ватине; хуже всего выглядели ноги. Тряпки, намотанные на них, были перевязаны бечевкой. Так мой дед Александр вернулся домой.

- 126 -

Милда Александра приняла. Прежние несогласия остались в прошлом и казались пустяками — их совершенно затмили катастрофический конец войны, сотни тысяч беженцев и большевистский террор<sup>123</sup>. Милда так долго ничего не знала о муже и теперь радовалась уже тому, что он жив. Прильнув к ослабевшему Александру, она снова почувствовала себя женщиной. Могла ли она знать, что тринадцать дней, оставшихся до ареста Александра, будут последними в ее женской жизни. Милде тогда было тридцать семь лет. Радость от возвращения мужа омрачалась, правда, мыслью о том, чем грозит его присутствие Айвару и Арнису. После жестокой внутренней борьбы Милда решила, что Александр должен пойти в милицию и легализоваться. Из слышанного в детстве знаю: моя бабушка в глубине души верила — ничего большего, чем тюрьма, мужу не грозит. Понимаю теперь, что в тот критический момент в ее сознании сработала самоцензура. Так хотелось защитить сыновей, что опыт Страшного года как бы отодвинулся, уступив место иллюзии — «с нами такого не может случиться», «мы никогда не были богачами», «мой муж не сделал ничего плохого...» Как будто конкретная вина, степень чьей-то вины интересовали советское правосудие!

Александр согласился. Правда, он-то не верил, что на сей раз большевики выполнят обещанное и отпустят грехи бывшим «немецким пособникам», пришедшим с повинной. Точно так же, как в день капитуляции, выбора у него не оставалось. В лесу его ждала верная смерть — с дырявыми легкими пережить там зиму не было ни малейшего шанса. Сдаться красным означало дорогу в Сибирь и в конечном счете тоже смерть. Он слишком устал и — покорился неизбежному.

Александру требовались теплая одежда и сапоги. Перед шагом, последствия которого были непредсказуемы, убедиться

<sup>123</sup> Ригу и большую часть Латвии советские войска заняли в октябре 1944 года. До 1 декабря того же года были арестованы 4914 человек, армейская контрразведка задержала еще 2127 человек. С 16 октября в Латвии действовали первые два лагеря для арестованных лиц — № 291 возле Резекне и № 292 у Даугавпилса. Позже к ним прибавились еще три лагеря. Тюрьмы также были переполнены. Аресты были настолько массовыми, что некоторые партийные функционеры жаловались начальству на недостаток работников в школах и больницах.; См. Strods H. Latvijas nacionālo partizāņu karš. 1944 — 1956. — Rīga: Preses nams, 1996.—124.—127. lpp.

- 127 -

хотя бы в том, что он не будет страдать от холода. С предвоенных времен сохранилось пальто. Выручили друзья, подобрав кой-какую одежду. Но сапоги нужно было покупать. Банка из-под монпансье — самодельная копилка, и раньше-то небогатая, теперь хронически пустовала. Милде оставалось дожидаться очередной зарплаты, чтобы на черном рынке приобрести желаемое. А пока устроили примитивный тайник под кухонным столом, где дед прятался днем от непрошенных гостей, и строго-настроено наказали Айвару: о возвращении отца — нигде ни звука! Айвар и сам хорошо понимал, как важно сохранить эту новость втайне. В годы войны он столько пережил, столько всего навиделся, что детство его закончилось, не прожитое и наполовину. В конце октября

1944 года, когда Айвар в очередной раз вернулся от бабушки в «освобожденную» Ригу, кругом царили произвол и насилие. В годы немецкой оккупации в городе сохранялся какой-никакой, но порядок, можно было не вздрагивать на каждом шагу. После вхождения советских войск начался хаос — никто не чувствовал себя в безопасности даже дома, не то что на улице. Грабили и насиловали женщин не только вооруженные бандиты, но и солдаты, считавшие это законным правом победителей. Ничего другого, по их убеждению, местные «фашисты» и не заслуживали. Хотя о грабежах и изнасилованиях говорилось полушепотом, Айвар знал, что даже в их доме есть женщины, не избежавшие этой участи. Тут же, рядом, на углу вооруженные налетчики трижды грабили магазинчик. Рига менялась. В городе пустовали многие квартиры, хозяева которых вместе с тысячами других беженцев подались на Запад<sup>124</sup>. В них вселялись красные освободители. В дом отца вернулся один из бывших соседей, в 1941 году ушедший вместе с Красной Армией. Он твердо верил, что все, кто оставался в Латвии и еще не умер, — фашисты или их пособники. Он первым донес бы о скрывающемся в доме «бандите», так что приходилось соблюдать крайнюю

<sup>124</sup> Точных данных о числе беженцев из Латвии нет. Цифры, приводимые разными источниками, не всегда совпадают. В Германии с 1944 по 1949 год находились от 80 000 до 120 000 латышей. Всего в различные страны мира эмигрировали около 250 000 человек. См. Brands M. Latviešu bēgļu gaitas Vācijā 1944. — 1949. gadā // Latvijas Arhīvi. — 2000. — Nr. 4. — 175. lpp.; Veigners I. Latvieši ārzemēs. — Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993. — 380. lpp.

- 128 -

осторожность. Поэтому Милда решила не говорить о приезде отца Арнису, который находился у бабушки, — семилетний ребенок мог по наивности проговориться кому-нибудь из соседей. Так Александру и не пришлось увидеть сына.

Моего деда Александра Калниетиса арестовали в ночь с 13 на 14 ноября 1945 года; через два дня Милда должна была получить зарплату. Громкий стук в дверь. Родители спали на кухне, Айвар — в комнате на небольшой кушетке; через приоткрытую дверь он в испуге наблюдал за происходящим. Он видел, как отец спрятался под столом. Милда поправила постель, чтобы на подушке не виден был отпечаток второй головы, и, набросив на плечи халат, пошла открывать. Двое вооруженных людей вломились в кухню и, направив оружие и луч фонарика прямо на укрытие, скомандовали: «Выходи, бандит! Стрелять буду!» Они знали, где прятался Александр. Кто-то сообщил в «органы» о его возвращении. Но ведь никого из чужих в квартире за все эти дни не было. Только Аля, жена Милдиного брата Вольдемара. Только она знала о возвращении Александра.

Александр выбрался из своего убежища и поднял руки. Новый окрик: «Сдавай оружие!» Убедившись, что оружия нет, велели собираться. Александр одевался неспешно. Положил в карман желтый бумажник с документами и семейными фотографиями, взял узелок с одеждой, приготовленный Миддой, на прощание обнял жену и погладил Айвара по голове. Задержись чекисты дня на три — и у него были бы сапоги. Теперь в легких летних полуботинках ему предстояло пройти последний этап той дороги, на которой у него ни разу не было выбора.

Последнее, что запомнил Айвар об отце — его темный силуэт в проеме двери. Милде и Айвару с тех пор не суждено было увидеть его ни живым, ни мертвым.

- 129 -

Его привели в печально знаменитый дом на углу улиц Стабу и Бривибас. Заполнили анкету арестованного. Велели раздеться, отняли бумажник. Полный список его содержимого еще и сегодня хранится в личном деле Александра в Государственном архиве Латвии<sup>125</sup>. Даже оставить фотографию сына Арниса «бандиту» не разрешили. В 14.10 чекисты начали допрашивать моего деда. Первый допрос длился одиннадцать часов, за это время протоколист заполнил размашистым почерком десять страниц. Средний темп письма был, таким образом, несколько меньше страницы в час. Протокол, так же, как все остальные документы дознания, написан по-русски. Судя по свидетельствам лесных братьев, переживших и подвалы чека, и Сибирь, представляю себе пытки и мучения, ожидавшие моего деда. Физическое воздействие не входило в обязанности самого следователя или протоколиста. Для этого имелись особые «специалисты». Били без предупреждения и в самые уязвимые места. Если допрашиваемый падал, его пинали ногами. Нога плюс тяжелый армейский сапог оказывались идеальным инструментом пытки. Можно только гадать, довелось ли Александру испробовать на себе другие следственные тонкости — подвешивание к потолку, заламывание рук за спину, притягивание колен к подбородку, защемление костей железными щипцами. Что пережитое им было ужасным, можно понять из шести писем, добравшихся до Милды в начале пятидесятых годов, когда сама она уже была в Сибири. Александр писал: «После всего того, что я пережил, смерть для меня все равно что друг, избавитель, и я давно ее не боюсь. Я мог бы и не жить, но делаю это из простого упрямства — живу»<sup>126</sup>. Тогда его, полубеспамятного, из застенков пятого этажа здания госбезопасности бросили в сырой, холодный подвал, под потолком которого день и ночь горела мощная лампа. Свет бил в глаза, не давая уснуть. «Световая терапия» и

<sup>125</sup> LVA, 1986. f., 1. apr., 17170. 1., 8. sēj., 117. — 152. lp. A.Kalnieša apcietināšanas brīdi izņemtas lietas (Вещи, изъятые в момент задержания А. Калниетиса).

<sup>126</sup> Письмо А. Калниетиса к М. Калниете. 02.11.1950.

- 130 -

лишение сна были дополнительными средствами подавления психики заключенного; допросы проводились по большей части ночью. И после них истерзанный узник должен был лежать на спине, прикрывать ладонью глаза строго запрещалось. Охрана за этим зорко следила.

Следующий допрос состоялся через два дня. Видимо, мой дед был в ходе предыдущего доведен до такого состояния, что раньше вызывать его было бесполезно. Всего Александру предстояло выдержать семь допросов; в сравнении с тем, что выпало на долю других лесных братьев, это не так уж много, но иной раз и одной встречи с тамошними «специалистами» хватало, чтобы человек сделался калекой до конца жизни. После каждого «сеанса» — возвращение в подвал, атмосфера которого еще более обострила туберкулез, сжигавший легкие моего деда. Каждый раз Александра допрашивал новый следователь, приходилось снова и снова отвечать на одни и те же

вопросы, пока от боли, усталости и жажды не начинал мутиться разум. Чекистов интересовало, где и с кем он был в тот или иной момент, каким оружием располагала группа, какие еще группы действовали в Курземе и других местах Латвии, как была организована связь между группами, были ли заминированы подступы к лагерю лесных братьев, кто оказывал поддержку бандитам и т. п.

На первых допросах Александр выкладывал все, что придет в голову. Он не знал, что протоколы следствия внимательно изучались, каждое название местности, каждое имя или дата подчеркивались красным карандашом и тщательно проверялись. Чекисты очень скоро обнаружили противоречия в показаниях деда, и «физическое воздействие» на него соответственно усилилось. На третьем допросе Александр обещал сказать все, что ему известно. Однако следователя ожидало разочарование: известно ему было немного. То был долгий допрос, продолжавшийся почти двое суток с

- 131 -

перерывами — порой на несколько часов. Потому что допрашиваемый терял сознание? Сказанное дедом никому не нанесло вреда. Люди, имена которых он назвал, оказались недосыгаемыми для чекистов; там, в глубине лесов, они продолжали жить и бороться еще несколько лет. Самообладание Александра подтверждает и тот факт, что он ни словом не обмолвился о времени, проведенном в Видземе, таким образом избавив родню своей жены от преследований и высылки. После этого допроса подпись моего деда под протоколом почти неузнаваема — с трудом выведенная неверной, дрожащей рукой.

После седьмого допроса чекисты, кажется, уяснили, что ничего больше из этого человека не выбьешь, и решили закруглять дело. Александра перевели в Центральную тюрьму и поместили в огромную, переполненную камеру. Среди сорока заключенных, спрессованных здесь, вместе с политическими содержались уголовные преступники<sup>127</sup>. Для моего деда начинался период новых испытаний; ему предстояло учиться жить по безжалостным законам преступного мира. 6 мая 1946 года наконец-то настал день суда.

Для того, чтобы улучшить статистику, чекисты задержанных по отдельности «бандитов» объединяли в «вооруженные банды». Так можно было сфабриковать внушительные судебные процессы и удостоиться наград за борьбу с «фашистскими недобитками». 30 марта Александра ознакомили с материалами следствия. Он узнал, что его обвинение — составная часть девятитомного «дела банды Рагнии Янсоне». На допросах дед не упоминал ни одного из соподсудимых. Точно так же и остальные двадцать четыре человека — «члены банды» — не называли фамилию Калниетиса, поэтому для пущей достоверности следствие приписало ему роль связника между отрядами латышских национальных партизан. Таким образом можно было объяснить, почему никто из

<sup>127</sup> Ход следствия, допросы, жизнь в тюрьме и этапирование ярко описал арестованный 2 октября 1945 года Ф. Сирсниньп, находившийся в чекистских застенках примерно в то же время, что и А. Калниетис. 1 См. Sirsniņi F. Atmiņas (Воспоминания) // Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā. — Rīga: SolVita, 1997. — 62.—67. lpp.

- 132 -

«подельников» его не знал. К делу прилагалась схема связей в движении сопротивления<sup>128</sup>, имя деда вписано в окошечке на полях. Из переписки с участниками процесса, оставшимися в живых, я

поняла, что только пятеро из двадцати четырех подсудимых на воле действовали сообща. Остальные были включены в список для внушительности и впервые увидели друг друга в зале суда.

Заседание военного трибунала было закрытым. Как полагалось по нормам советского правосудия, в нем участвовали судьи, прокурор и, что меня больше всего удивило, адвокат. Заслушан был 31 свидетель. Процесс велся на русском языке, и большинство подсудимых не понимали, о чем идет речь. Служители Феиды — майор Рагулов, лейтенант Олейников и лейтенант Леванс, должно быть, скучали — изображать справедливый суд им было не впервой. Роли заранее расписаны, сюрпризов не ожидалось. Следователи поработали на совесть, процессуальные требования соблюдены безупречно. Каждый из обвиняемых еще раз допрошен. Александр отрицал, что намеревался бежать в Швецию, распространял антисоветские листовки и прибыл в Ригу, чтобы установить связи с другими «вооруженными бандами», но все было напрасно. Настал черед прокурора. С пеной на губах, с праведным пылом, достойным Вышинского, он перечислял преступления бандитов против советской власти. В обвинительном заключении моего деда говорилось:

«Калниетис Александр Янович (..) вплоть до ареста 14.11.45. исполнял обязанности связника между бандитскими группами в северной Курземе, активно участвовал в подпольной террористически-контрреволюционной организации «Объединение латышских национальных партизан». Будучи в составе бандитской группы, терроризировал жителей северной Курземе, в том числе советский и партийный актив, противился выполнению государственных хлебных

[128](#) LVA, 1986., f., 1. apr., 17179. L, u/1. Latvijas nacionālo partizānu organizācijas sakaru shēma (Схема связей организации латвийских национальных партизан).

- 133 -

и других заготовок. Распространял антисоветские листовки, в которых призывал к активному сопротивлению советской власти.

Приговор: призвать Калниетиса Александра Яновича к ответственности по статьям 58-1 «а», 19-58-8, 19-58-9, 58-10 ч. II и 58-11»<sup>[129](#)</sup>.

Похожее обвинение было предъявлено и другим подсудимым. После вялой речи защитника Кусина суд удалился на совещание. Как ни странно, приговор на этот раз, похоже, не был вынесен заранее. Или же пятичасовая пауза была выдержана специально, чтобы поддержать иллюзию законности? А может быть, разгадка еще банальнее: было обеденное время. Пока состав трибунала не спеша принимал пищу, пока отдыхал и, может быть, подчищал хвосты, прошли те самые пять часов. В 17 часов 45 минут по-русски был зачитан приговор. Понимают ли его подсудимые, «самый гуманный в мире суд» не интересовало. В группе Янсоне никто не был приговорен к высшей мере наказания. Пять человек получили по двадцать лет особо строгого режима с последующими пятью годами ссылки. Александр оказался среди тех, кого приговорили «всего лишь» к десяти годам лагерей особо строгого режима; довесок в виде пяти лет ссылки прилагался.

Последнее слово моего деда перед тем, как был зачитан приговор: «Прошу меня расстрелять или оправдать»<sup>130</sup>...

Его просьба была всего лишь криком отчаяния — Александр знал, что его не оправдают. Значит, он надеялся на смертную казнь как на избавление. Невыносима была мысль о том, что выстраданное в застенках чека и пережитое в Центральной тюрьме будет продолжаться. Однако — продолжалось. Так же, как отцу моей матери Янису Дрейфелду,

[129](#) LVA, 1986. f., l. apr., 17179.1., 2. sēj., 69.1р. Статья 19 Уголовного кодекса РСФСР определяет ответственность за покушение на какое-либо преступление, а равно и приготовительные к преступлению действия, выражающиеся в приискании или приспособлении орудий, средств и создании условий преступления (упомянутые действия преследуются так же, как совершенное преступление). 58 статья и ее 14 пунктов трактуют ответственность за контрреволюционные деяния. В случае А. Калниетиса — за измену Родине, переход на сторону противника, проведение террористических актов, призыв к свержению советской власти, участие в организации вышеупомянутых преступлений, недонесение о достоверно известном или совершенном контрреволюционном преступлении. См. Уголовный кодекс РСФСР. — Москва: 1944. - С. 9, 28-31.

[130](#) LVA, 1986. f., l. apr., 17170.1., 7. sēj., 313.1р.

- 134 -

Александрю пришлось пережить долгую дорогу в вагоне для скота, битком набитом людьми. Только в отличие от Яниса, который хотя бы до лагеря находился в обществе порядочных людей и был избавлен от прямых контактов с преступниками, Александрю пришлось иметь дело и с товарищами по несчастью, и с уголовным отребьем. Это сделало еще невыносимей каждый километр, отстукиваемый колесами состава. Перевозимый по этапу из тюрьмы в тюрьму, Александр, наконец, был доставлен в свой первый лагерь, о местонахождении которого не знал никто из его близких.

Впервые связаться с семьей удалось только в 1950 году, когда его перевели в другой лагерь — п/я № 219, в Вельском районе Архангельской области. Неизвестно, был ли дед до этого лишен права переписки<sup>131</sup> или же молчание было его собственным выбором. Письмо, посланное из лагерного лазарета, передаваемое из рук в руки, добралось до Латвии. Из ответного письма сына Арниса Александр узнал, что 25 марта 1949 года Милда и Айвар как члены семьи бандита депортированы в Сибирь. Случилось то, чего Милда так старалась избежать. Арнис писал со слов своей бабушки, Матильды, и слова эти были беспощадными. Ты — причина несчастий всей семьи, — написано было детским крупным почерком. И это — вместо сочувствия, на которое Александр так надеялся! Какая несправедливость! Когда первая обида остыла, мой дед понял, что сердиться напрасно: Матильда мать, у нее своя правда. В своем первом письме, посланном на имя сына, хотя на самом деле адресованном Мидце, он спрашивал: «... неужели и другие матери так же думают, что виноваты их сыновья, братья и мужья, или же они видят других, настоящих виновников?»<sup>132</sup>

Первое дедово письмо послано 5 мая 1950 года. Последнее, шестое — 27 апреля 1951 года. Он умер 18 февраля

[131](#) В лагерях особо строгого режима заключенным разрешалось два раза в год посылать письма родным, однако лагерная администрация зачастую по своей воле разрешала или запрещала переписку. См. RossiJ. Le Manuel du GOULAG. — Paris: Cherche Midi Editeur, 1997. — p. 47., 77.

[132](#) Письмо Александра Калниетиса Айвару Калниетису. 05.05.1950.

- 135 -

1953 года. Все письма написаны в различных лазаретах Гулага. Запущенный туберкулез и перенесенные пытки сделали свое — с 26 октября 1946 года Александр признан нетрудоспособным, что не помешало начальству пересылать его все дальше и дальше на Север. Последнее, написанное в апреле 1951 года письмо послано из Устьвымлага<sup>133</sup>, а справка о смерти выдана в лагере АА—274 в Печорлаге<sup>134</sup>. Устьвымлаг находился примерно в четырехстах километрах севернее Вельска, предыдущего места заключения, а Печорлаг — уже у самого Полярного круга. Этот лагерь был образован, чтобы обеспечить дармовой рабочей силой строительство железной дороги к поясу вечной мерзлоты. Что за абсурд — обречь на экстремальные жизненные обстоятельства беспомощного инвалида! Причина его перевода не поддается разумному объяснению. Видимо, надо искать его в «исправительной» системе сталинских времен и в безоговорочном послушании чиновников, в точности исполнявших любые предписания начальства, чтобы только обезопасить себя от обвинений во вредительстве. Пришло распоряжение перевести лагерника — и перевели.

В третьем по счету письме Александр писал Мидде: «Ничто не вечно! Я на новом месте, еще дальше к Северу! Не дают умереть где ты есть, а водят, как дьявол Спасителя, и подохнуть как не выходит, так не выходит. Я сейчас тяжело болен — последствия образцового скотского транспорта — и так скоро не поправлюсь. Пишу в лежачем положении и потому, наверно, неразборчиво. Живу далеко на Севере за Полярным кругом у большой реки, она течет вроде бы от Урала, по ней ходят суда — довольно крупные, и впадает она в Северную Двину. Жалко мне прежнего места. Пробыл там два года и семь месяцев, обжился. Был у меня даже свой огородик с картошкой, красной свеклой, морковью, понемногу росли там лук и чеснок, салат, редиска. Редиски и салата

[133](#) Устьвымлаг основан 16.08.1937. Действующий на 01.01.1960. См. «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923 — 1960». — Москва: Звенья, 1998. — С. 494.

[134](#) Печорлаг образован 24.07.1950, закрыт 05.08.1959. См. «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923—1960». — Москва: Звенья, 1998. - С. 354.

- 136 -

мне дали за труды, остальное пришлось оставить. Теперь придется начинать все сначала, если только не сдохну. Здоровье не ахти, и если письма перестанут приходить, знай, что меня нет. Так-то вот — не вечно мне жить, не вечно переносить этот ад, и не жалко мне ничего!»<sup>135</sup>.

С дедом вместе в Устьвымлаге находился и бывший директор Терветского туберкулезного санатория Пуринын, у которого Александр лечился еще в Латвии. После обследования больного врач подтвердил, что его положение безнадежно. При нормальных условиях свежий воздух, хорошее питание и покой еще могли бы что-то спасти, но в заключении, если не считать свежего воздуха, впрочем, слишком сухого и холодного, все это было недостижимо. Такая безнадежность царилла вокруг — тундра, снега, долгая полярная ночь. Как при таких обстоятельствах, да еще под угрозой неминуемой смерти не впасть в депрессию? В Вельске хоть сколько-то держаться помогало участие в небольшом оркестрике заключенных; дед играл там на скрипке и мандолине. Александр был недурным художником и, должно быть, если попадал в его руки клочок бумаги и огрызок карандаша, брался за старое — набрасывал северный пейзаж или дружеский шарж на соседа. И чувствовал себя на какой-то миг снова человеком. Так же было и с другими

заклученными — в Вельске условия были все-таки получше, и люди не падали духом так, как в Устьвымлаге. На новом месте начальство даже не пыталось хотя бы минимально облегчить социальную жизнь лагерников, и не было тут ничего, что отвлекло бы деда от мрачной безнадежности. Правда, он писал Милде, что старается побольше гулять. Однако на дворе было сорок градусов ниже нуля, морозный воздух с каждым вдохом вонзался в легкие тысячу острых иголок. И снова приходилось лежать в полуземлянке лазарета и до отупения смотреть в низкий выбеленный потолок.

[135](#) Письмо А. Калниетиса к М. Калниете. 22 августа 1950 года.

- 137 -

Александр ощущал себя бесконечно одиноким. Более одиноким, чем многие другие, — даже переписка с близкими как-то не клеилась. Долгожданные письма приходили редко, иной раз и вовсе пропадали. Тогда Александру казалось, что он забыт всеми. Всего больше его ранило равнодушие Арниса: сын, кажется, и не подозревал, с каким нетерпением отец ждет от него хотя бы нескольких строчек. Арнис отца почти не знал: война и несогласия между родителями лишили его возможности побыть с ним вместе. Отец помнил его шестилетним малышом, каким видел в 1944 году перед мобилизацией. Между тем, это был уже подросток, упрямо боровшийся за существование, — ему и бабушке Матильде пришлось ох как несладко после того, как выслали в Сибирь Милду и Айвара. Они жили зачастую впроголодь, спасаясь чужой добротой. Александр в отчаянии думал лишь о своей правоте и страданиях, о своей сиротской доле. Всю жизнь он ждал любви от других, так и не научившись дарить ее.

Последнее письмо Александра Милде — разом и покаяние и обвинение, сведение счетов с жизнью и завещание.

«Долго думал, стоит ли отвечать тебе, ведь в конце концов тебе нужно смириться с мыслью или привыкнуть к тому, что меня нет. До этого уже недалеко; время может изгрызть железо, не то что железное здоровье — да еще при такой жизни и в климатических условиях, в каких приходится жить. (...) Сам я с этой мыслью примирился и приготовился. Если уж на то пошло, могу тебе сказать: я уйду из жизни не как раскаявшийся грешник, а как проигравший. (...) Я жил по совести, согласно здоровому, логичному человеческому пониманию — и не мог иначе. Если и обижал тебя, то накачан за это угрызениями совести, а это тяжкое наказание. (...) Согласия не было между нами, свою вину в отношении

- 138 -

тебя признаю и считаю, что ее искупил. Остается Айвар. В отношении сына — если бы судьба мне дала несколько лет пожить вместе с ним, уверен, мы бы поняли друг друга и стали добрыми друзьями. (..) Желаю сердечно всего наилучшего, и эти мои пожелания добра будут с ним, и ему повезет.

Если вы все еще думаете, что я был причиной вашего несчастья в теперешних жизненных обстоятельствах, то просто заблуждаетесь, не зная самую суть дела. Можете особенно не горевать, там у нас людям теперь ненамного лучше, чем вам. (...) Последние мои письма были посланы 20 августа и 2 ноября тебе и 13 ноября Арнису. Так как письма остались без ответа, я решил полностью прервать связь с вами. (...) Арнису тоже с тех пор не писал и не собираюсь. Он

достаточно большой, чтобы понять суть дела. Если же нет, то это уже его дело. Судьбе было угодно слишком рано поставить его перед лицом реальности, и прожить свою жизнь ему предстоит самому. Единственное, что со своей стороны посоветую и пожелаю Арнису, это чтобы уже через год он начал учиться какому-нибудь ремеслу. Так ему и напиши.

Привет всем на Родине. Привет и вам и пожелания счастья обоим в день рождения. Всего вам доброго. А. Калниетис»<sup>136</sup>.

Милда написала мужу еще несколько писем, но ответа на них не было.

Александр умирал во мраке полярной ночи. Долго и мучительно. К привычному сухому кашлю прибавилось новое — он начал харкать кровью. Александр истекал потом, его трясло. Бывали и дни посветлее, когда надежда и желание жить вспыхивали в нем с неожиданной силой. Тогда больной пытался встать, двигаться, но снова падал без сил. Когда он впервые ощутил во рту скользкий, теплый сгусток и кровавая пена выступила на губах, стало ясно: это конец. Отчужденно, равнодушно, словно бы со стороны он

[136](#) Письмо А. Калниетиса к М. Калниете. 27 апреля 1951 года.

- 139 -

наблюдал, как изо рта время от времени отделяются по кускам его собственные легкие — пористые, бледные комки. Не хватало воздуха, и на грудь навалилась чужая, неподъемная тяжесть. Малейшее движение отзывалось в теле острым уколом и раздирающей болью. В воображении Александр был далеко от своего изнемогшего тела. В лихорадочном жару и беспамятстве время теряло конкретность и жесткую невозвратимость. Александр опять был ребенком и самозабвенно играл со своим лучшим другом, который оказывался его сыном Арнисом. Давным-давно умершие мать и отец склонялись над маленьким Сашей. Наконец-то он был со своими, наконец-то его любили и баловали. Так, захлебываясь кровью, угасал мой дед Александр Калниетис.

Мой дед умер, не зная, что у него родилась внучка Сандра. Письмо Милды с этой вестью пришло в лагерь уже после его смерти. Кто-то из товарищей сообщил моей бабушке о его скорбной кончине. Когда после смерти Сталина в 1954 году начался пересмотр личных дел осужденных, приговор многим legionерам отменили или смягчили. Напротив имени моего деда — резюме «справедливой» комиссии: «считать приговор правильным»<sup>137</sup>. Следующий пересмотр «дела группы Я неоне» состоялся в январе 1990 года, и помощник прокурора ЛССР В. Батарагс решил, что «нет оснований для отмены приговора военного трибунала от 10.05.1946. Вина всех двадцати четырех осужденных в деле доказана и не подлежит реабилитации»<sup>138</sup>. Всего три месяца в тот момент Латвии оставалось ждать до 4 мая, когда вновь избранный Верховный Совет примет Декларацию о восстановлении государственной независимости, которая, наконец, даст Александру Калниетису право на реабилитацию. Посмертно.

[137](#) В составе комиссии был печально знаменитый Веверис, под чьим руководством выездные группы НКВД в 1941 году фабриковали уголовные дела в Вятлаге и Усолялаге, начиная со смертных приговоров депортированным государственным и общественным деятелям Латвии. Подпись Вевериса стоит и в деле моего деда Я. Дрейфелда. LVA, 1986. f., 1. apr., 17170. L, 7. sēj., 374.1р.

[138](#) LVA, 1986. f., 1. apr., 17170. L, 7. sēj., 459. 1р.

## ПОСЕЛЕНИЕ. ГОЛОД

Спустя три недели после того, как на станции Бабинино 20 или 21 июня Эмилия и Лигита навсегда расстались с Янисом Дрейфелдом, они приближались к конечному пункту маршрута. Уже позади были Уральские горы, проехали Челябинск, Курган, Петропавловск и Омск, когда в проем двери крикнули: приготовиться к выходу! Все это время моя бабушка и мама ни разу не покидали вагон, не имели возможности помыться, сменить белье, переодеться в чистое. Не лучше пришлось и многим другим женщинам — вещи остались у их мужей. Некоторые семьи были разделены уже на «станции погрузки», в Латвии, и в этом случае женщины могли захватить с собой какую-то одежду. Могли — если в момент задержания успевали наскоро что-то собрать в дорогу и если чекисты по своему произволу не запрещали это сделать. В вагоне моей мамы, к счастью, почти не было малых детей, так что хоть от этого дополнительного испытания — видеть мучения малышей — они были избавлены. Единственное исключение — Инга, трехлетняя дочка госпожи Балодэ. Молодая женщина ждала второго ребенка, единственным ее желанием было — чтобы не пришлось рожать в поезде. Ее мольбы, кажется, были услышаны: ребеночек появился на свет уже после прибытия на первый пункт назначения. У матери от всего пережитого, да и от плохого питания пропало молоко, и младенец вскоре умер. Инга выжила и спустя годы вместе с матерью вернулась в Латвию.

Известие о нападении Германии на Советский Союз разнеслось по вагонам вечером 23 июня — перед ночью Лиго.

- 144 -

Это была важная весть, сулившая перемены, а может быть, и возвращение в Латвию. Впервые после драматической ночи 14 июня в людях проснулась надежда. В ее свете праздничная, все-таки праздничная ночь казалась даже красивой — после того, как пересекли Уральский хребет, в пути разрешалось держать двери вагона открытыми. Эмилия и Лигита вглядывались в темные, усеянные звездами небеса, народные песни — дайны — звучали почти так же, как на родине у праздничного костра, мать и дочь подпевали спутницам и на миг забывали о вонючей тюрьме на колесах. Из соседних вагонов тоже слышались песни, и так хотелось отдаться иллюзии, что тут же, за черными деревьями — морской берег, веселые лица, огни. Они говорили о любимом отце, Янисе, ведь наступали его именины, Янов день. О том, что будут делать, как только вернуться домой. О, первым делом старший брат, Вольдемар, поведет Лигиту и маму в Оперу, и уж разоденутся они по этому случаю! Затаив дыхание, будут следить за тем, как постепенно гаснет роскошная хрустальная люстра. И зазвучит музыка... Эта картина — свет, понемногу убывающий в чудесной люстре Оперы, — оставалась все долгие годы пребывания в Сибири мечтой моей матери, воплощением и символом недостижимой, человеческой жизни и красоты. Каждый раз, когда мы с мамой бываем в Опере и я смотрю на постепенно угасающий свет, я знаю — для нее это святой, торжественный миг. Для меня тоже.

Поезд остановился в Новосибирске, всем приказали выйти и следовать к берегу Оби, где прибывших ожидала огромная баржа, способная вместить всех, кто ехал в длиннющем составе.

Станным казалось, что можно идти, шагать по земле. Отвыкли. А некоторые из детей разучились ходить. Там, на берегу Оби, Эмилия и Лигита впервые смогли помыться. Не обращая

внимания на охранников, перевидавших, впрочем,

- 145 -

всякое, плескалась тут же вся огромная толпа ссыльных. Такое чудное, забытое ощущение — прикосновение свежей, холодной воды. Привядшая, задохнувшаяся под слоем грязи плоть словно воскресла, вместе с вернувшейся бодростью ожил и потерянный было интерес к дальнейшей судьбе. Женщины теребили охрану вопросами — когда и где они соединятся с семьями? Быстренько на баржу, отвечали им, освобождайте место следующему составу, в котором ваши мужчины. Они еще не доехали. Сами же видели — вы первые! Езжайте, куда вам укажут, и готовьтесь встретить мужей. Женщины не понимали, что им привычно лгут, — сказать правду такой массе народа было бы слишком опасно. Даже эти замученные женщины в ярости могли стать неуправляемыми... А они — они верили сказанному. Ведь правда, они уехали, а состав с мужчинами остался, значит, встреча впереди. Когда я спрашивала маму, в какой момент она поняла, что их потчуют пустыми отговорками и никакого воссоединения семей не будет, мама не знала, что ответить. Трудно вспомнить — столько жестокостей и лжи пришлось пережить, что в памяти все сплелось, скаталось в один огромный клубок.

После долгой дороги моя бабушка совсем ослабела, так как у Эмилии от грязной питьевой воды, которую охранники черпали тут же, в канаве рядом с железнодорожной насыпью, началась дизентерия. Лигита помогла матери добраться с грехом пополам до баржи; в бессилии она опустилась на палубу... Больных было много, Почти все их спутницы страдали от той же напасти. Вскоре заболела и Лигита, правда, не так тяжело, как ее мать. Девушка, по крайней мере, могла двигаться. Перед двумя деревянными будками, вынесенными за борт баржи, стояли нескончаемые очереди. Побывавшим в будке почти тут же приходилось вновь становиться в хвост очереди. Через несколько дней плавания обнаружили первые тифозные больные, и здоровых обуяла паника. Не было

- 146 -

никакой возможности уберечься от заразы. Места не хватало даже для того, чтобы всем улечься, и полусидя больные коротали час за часом рядом со здоровыми. У пристаней к барже подходили лодки, группами отвозившие людей на берег. Оставшиеся на барже долго вслушивались — уходила лодка, таяла вдаль прощальная песня недавних спутниц. Наступила и очередь Лигиты и Эмилии сойти на берег.

10 июля 1941 года после недельного с лишним плавания по Оби и ее притоку Парабели они прибыли в колхоз «Большой Чигас», ставший для моих мамы и бабушки первым местожительством. Тогда они не знали, что Латвия находится от них за 6000 километров и что преодолеть это расстояние Эмилии уже не суждено никогда, Лигите же предстоит проехать его дважды. Первый раз с самыми светлыми надеждами — весной 1948 года, когда сосланным детям и некоторым молодым людям будет разрешено вернуться в Латвию. Однако уже спустя год и четыре месяца органы безопасности спохватятся — недопустимо такое мягкосердечие по отношению к отпрыскам классовых врагов! — и многих, в том числе мою маму, как преступников, по этапу перешлют обратно в Сибирь. Только в 1957 году советская власть после долгих шестнадцати лет признает Лигиту Калниете полноценным членом общества и вернет ей право жить в родной Латвии.

От реки до деревни было восемь километров, и, хотя Эмилия настолько поправилась, что могла

самостоятельно сойти на берег, такой путь был ей не по силам. Возница, добросердечный русский крестьянин, помог ей забраться на разболтанную повозку, и терпеливая лошадка по болоту, по едва угадываемым остаткам дороги дотащила ее до колхозной усадьбы. Лигита шла за телегой. Чтобы поберечь свою единственную обувь — туфельки, подаренные братом накануне высылки, — мама их сняла. Ножки ее были мягкими,

- 147 -

изнеженными, босиком ей до этого не приходилось шагать по кочкам и рытвинам, по колючим сучьям. Лигите было больно, временами она плакала от отчаяния. Но что это меняло? — идти нужно было так или иначе. Да и плакать ей было не привыкать.

Появление чужаков было крупным событием — никогда раньше в деревне не видели людей, одетых так нарядно. Разве что в кино, в советских фильмах, где в пух и прах разодетые колхозники и рабочие пели о своей счастливой доле под солнцем сталинской конституции. А тут похожие на киногероев люди пожаловали в их деревню. Здешние тоже были классовыми врагами, но с намного большим стажем. В тридцатые годы их ссылали в Сибирь за то, что они были зажиточными крестьянами. Кулаки и подкулачники априори считались враждебными процессу коллективизации и рабоче-крестьянскому государству<sup>139</sup>. История этих людей, их мучений и бед потрясает: после того, как у них было отнято абсолютно все, их привозили и оставляли умирать в тайге — без средств существования, без крыши над головой, не говоря уж о семенах или домашних животных. Они зарывались в землю, и через несколько лет те из них, кого не прикончили голод и холод, возвращались к жизни, приобретали коровенку, свинью или овечку, в глазах советской власти снова оказывались кулаками — следовательно, надо было сослать их еще дальше. Эта бессмыслица, не поддающаяся никакой логике, настолько притупила чувства жертв, что они даже не пытались как-то улучшить свое положение, — покорно исполняли повинности в нищем колхозе, ожидая, что со дня на день на них обрушатся новые гонения. Раскулаченные знали, что такое страдание, от них можно было ждать и сердечного сочувствия, и помощи. Моя мама с благодарностью вспоминает людей, которые делились с сосланными латышами последним куском гораздо чаще, чем

<sup>139</sup> Депортации крестьян в процессе коллективизации в СССР проводились планомерно. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года об «экспроприации кулачества», в течение четырех месяцев того же года, с января по май, предусматривалось заключить в концентрационные лагеря приблизительно 60 000 и выслать в отдаленные районы страны 150 000 кулаков. В районы крайнего Севера высылались 70 тысяч семей, в Сибирь — 50 тысяч, на Урал — 20—25 тысяч семей, в Казахстан — 20—25 тысяч. Места ссылки должны быть необжитыми или малонаселенными, чтобы ссыльных можно было занять на сельскохозяйственных работах, лесоповале, рыболовстве и т.п. См. Okupācijas varu politika Latvijā. 1939—1991. — Rīga: Nordik, 1999. — 28.—31. lpp.

- 148 -

коренные сибиряки, жившие в этих местах из поколения в поколение.

Деревенский люд в молчании наблюдал за тем, как приезжие устраивались в помещении местной школы. Через несколько дней в деревню явился комендант; каждый взрослый должен был в его присутствии расписаться в том, что он выслан на двадцать лет без права самовольно оставлять место ссылки<sup>140</sup>. В дальнейшем раз в месяц в деревню приезжал представитель

комендатуры — убедиться, что никто не сбежал. В последующие годы ссыльные получали на руки регистрационные листки, и любой из них должен был лично первого и пятнадцатого числа каждого месяца являться в комендатуру. В формуляре — двадцать одно окошечко. Они заполнялись за десять с половиной месяцев, после чего ссыльный получал новый листок<sup>141</sup>. То был единственный документ, удостоверяющий личность ссыльного; в нем указывался район, в пределах которого, находясь «под гласным надзором», с особого разрешения комендатуры человек мог передвигаться. Без такого разрешения нельзя было удаляться от места жительства больше чем на три километра. Кроме того, тут же было напечатано указание: «Без отметки о своевременной явке на регистрацию удостоверение недействительно». Подлинность формуляра подтверждали подписи двух представителей КГБ, штамп и печать.

В первые шесть лет ссылки Эмилия и Лигита принуждены были девять раз менять местожительство. В перемещениях не было никакой нужды. Распоряжение о переезде объявлялось неожиданно и подлежало немедленному исполнению. Никого не интересовало, что чувствует ссыльный, оставляя небольшой огорожок, в который, чтобы как-то спастись от голода, вложено столько труда. «Они» принимали решение, и приходилось подаваться на новое место, зачастую

<sup>140</sup> Rūtiņa U. Vēl tā gribējās dzīvot. Pārdzīvojumu stāsts. — New York: Grāmatu Draugs, 1979. — 26. lpp.

<sup>141</sup> Когда 6 января 1957 года пришло извещение о снятии Л. Дрейфелде с учета административно сосланных, в комендатуре был начат шестнадцатый формуляр. Всего Л. Дрейфелде пробыла в Сибири 164 месяца. Был еще и промежуток в 16 месяцев, когда моей маме ненадолго позволили жить в Латвии.

- 149 -

совершенно непригодное для житья. Когда я задавала маме вопрос — почему же вас так часто переводили с места на место? — она сухо отвечала: «Чтобы человек не успевал обжиться и поскорее умер». Сегодня можно прочесть документы, в том числе служебные донесения сотрудников НКВД, — даже они отмечали, что как раз в Новосибирской области «бытовые обстоятельства размещенных на поселение крайне неудовлетворительны»<sup>142</sup> и среди ссыльных «имеют место факты голода, нищеты и «безработицы». (...) этими ссыльнопоселенцами никто в аппарате НКВД не занимается и не отвечает за их состояние»<sup>143</sup>. Однако ничего так и не было сделано, чтобы как-то улучшить жизненные условия несчастных.

Подошел сентябрь, надо было освобождать школьное помещение, искать другое прибежище. Эмилия и Лигита устроились за небольшую плату у одной женщины, муж которой погиб на войне, — та была рада и нескольким лишним рублям. Дочке с матерью достался угол в кухне, у печки; спать пришлось на полу, а их соседкой оказалась тощая Сидоренкова корова: из-за холодов хозяйка не решалась держать ее в хлеву. Пазы между бревен облюбовали клопы, одежду и волосы постепенно захватывали вши. С этих пор и вплоть до осени 1946 года от насекомых не было житья и Лигите с Эмилией, и другим ссыльным. Местные свыклились с этой напастью — бывали беды и пострашней. Паразиты перебирались вместе с людьми из одного места поселения в другое, там спаривались с представителями местной фауны, и после того, как генофонд таким образом был освежен, новые поколения кровососов набрасывались на истощенные человеческие тела. Никаких средств борьбы с насекомыми не было, да и сил на это

не хватало. Частый гребень, сделанный из коровьей голени, переходил из рук в руки, помогая хотя бы ненадолго унять нестерпимый зуд.

[142](#) Служебное донесение начальника отдела рабочих и спецпоселений Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД М. Кондратова заместителю наркома внутренних дел СССР В. Чернышеву о размещении и занятости ссыльнопоселенцев. См. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs / LVA. — Rīga: Nordik, 2001. — 80. lpp.

[143](#) Там же, с. 83. Донесение начальника Управления трудовых лагерей и колоний В. Наседкина в НКВД СССР о передаче надзора над ссыльно поселенцами в спецотдел перемещений НКВД.

- 150 -

Первую зиму ссыльные прожили, можно сказать, терпимо: у них еще оставались кое-какие вещи, одежда, которые можно было обменять на картошку или другие продукты. Эмилию и Лигиту какое-то время выручал взятый с собою горшок с маслом, но хватило его ненадолго. Деньги, которые при задержании смогла припрятать бабушка, в нищей деревне настоящего хождения не имели, однако время от времени находился кто-нибудь, кто соглашался продать им толику съестного. Местных гораздо больше интересовали вещи ссыльных, но у Эмилии считай не было ничего для обмена, все осталось с Янисом в вагоне. Не было ни одеяла, ни простынь, ни подушки. Лишь то, что на себе, да несколько случайных вещей, оказавшихся в чемоданчике, захваченном в Бабинино с собой: теплые кальсоны Яниса, еще что-то из белья и одно шерстяное платье. Продали все, без чего могли обойтись. Эмилия даже отпоролла подкладку своего пальто и сшила из нее блестящее шелковое платье, за него удалось выручить целое ведро картошки. Брильянтовые серьги ушли примерно за такую же цену. Покупательница не очень-то понимала, что ей досталось, но от души радовалась чудесным стекляшкам, отливающим всеми цветами радуги. Лигите были куплены старые сапоги — будет во что обуться, когда приспичит идти на улицу. Чтобы не обморозить ноги, моя мама надевала кальсоны отца и обвязывала их вдобавок подручным тряпьем. Должно быть, всюду, где жили ссыльные из Балтии, еще и поныне в деревнях и селениях можно найти странные, не характерные для этих мест предметы, назначение которых сегодня кажется загадочным. Одежда изношена, часы давно сломаны, украшения пропали.

После угла, который Эмилия снимала у Сидоренко, мать и дочь вместе с тремя сестрами из семейства Упите<sup>144</sup> перебрались в небольшой хлев, который согласилась сдать им одна из местных. Он был полуразрушен и до самой крыши

[144](#) Старшая из сестер, Рута Упите после возвращения в Латвию в 1947 году написала воспоминания о пережитом в Сибири. После ее смерти в 1967 году рукопись вывезли за границу, и воспоминания были опубликованы в 1977 году без указания настоящего имени автора, чтобы уберечь ее отца и выжившую после всех испытаний сестру Дзидру от новых репрессий. Читая книгу впервые, я еще не знала, что упоминаемые в ней госпожа Д. и Л. — мои бабушка и мама. См.: Rūtiņa U. Vēl tā gribējās dzīvot. Pārdzīvojumu stāsts (Еще так хотелось ЖИТЬ. Рассказ О пережитом). — New York: Grāmatu Draugs, 1979. — 152. lpp.

- 151 -

забит засохшим навозом, но после того, как они общими силами очистили хлевушек, залатали берестой кровлю и стаченными из колхозной конюшни досками настелили пол, жильё

получилось приемлемым. Осталось только соорудить лежанки из березовых жердей и сложить печь из самодельных кирпичей. Пускай и жалкой была эта лачуга, а все-таки поселиться вместе со своими казалось веселей. Ближе к зиме «дом» со всех сторон обложили соломой, чтобы в нем хоть сколько-нибудь держалось тепло. В полутемной, занесенной снегом хибаре прошла их вторая по счету сибирская зима. Для Эмилии и Лигиты она выдалась намного тяжелее первой.

На вторую зиму все резервы, все, привезенное с собой из Латвии, было исчерпано, и жить приходилось тем, что удалось прикопить летом и осенью. Эмилия обязана была работать в колхозе, но там почти ничего не платили. Хорошо если 300 граммов хлеба выдавали за день работы. Лигита вместе с сестрами Упите ходила по грибы, ягоды, орехи, вязала веники, чтобы обменять это все на картошку и соленую рыбу. Ягоду варили на зиму, хотя и без сахара. Орехи были особенно вкусными, маслянистыми, и сил от них прибавлялось. Под осень все теребили лен, собирали колосья. Кто выполнит дневную норму, получал полкило хлеба. Выгодней всего было копать картофель. Местные охотно нанимали ссыльных, зная, что они готовы работать чуть ли не даром. В своей лачуге под полом вырыли яму и насыпали в нее картошку, не подумав, что зимой земля замерзнет и клубни могут пропасть.

Несмотря на все старания, еды не хватало, и все время жили впроголодь. Эмилия где-то нашла выброшенные ватники, вернее, их остатки, на которые даже никто из местных жителей не польстился. Кропотливо, стежок за стежком, моя бабушка пришивала нитками от рыбацких сетей полоски

- 152 -

ткани к комкам старой ваты. Получилось до того ладно, что новые ватники иначе не называли, как каракулевыми полушубками, — серые и черные нитяные узелки на расстоянии и впрямь напоминали курчавую шерсть молодого барашка. Когда «полушубки» были готовы, решено было продать оба пальто, привезенные из Латвии. Но и несколько ведерок картошки, полученные за них, лишь ненадолго утолили бездонный голод. Все похудели до неузнаваемости. 31 марта умерла бабушка сестер Упите. После этого две младшие сестры и их мама отправились на поиски работы в ближайший городок. Третья — Рута — осталась в лачужке вместе с Эмилией и Лигитой.

При всех этих горестях Лигиту согревал внутренний свет: чудо первой любви посетило ее. Молодого, статного юношу она заметила еще на барже по пути от Новосибирска к Большому Чигасу. Следующая встреча состоялась на вечеринке молодых ссыльных. У местной учительницы, когда-то горожанки, а теперь врага народа, нашелся патефон и несколько пластинок — вальсы, танго, фокстроты. Колхозники этих городских танцев не знали. Веселье для многих было связано с выпивкой и хорошей дракой, после которой не жаль было возвращаться домой. Когда клубный зальчик освободился от драчунов, учительница принесла патефон, и «инородцы» устроили свой бал. Кое-кто из местных парней и девушек остался, они с удивлением, любопытством, а может, и завистью следили за странными повадками приезжих, но тем было все равно. Их молодость требовала своего — радости и беззаботности, несмотря на то, что и беззаботность, и радость были у них давно отняты.

В тот вечер Лигита вновь обрела прежнюю лукавую улыбку, вернулся и блеск в глазах. Она

опять почувствовала себя королевой бала, с высот своей прелести вольной осчастливить

- 153 -

или отвергнуть любого из латышских парней, по воле случая оставшихся со своей семьей и очутившихся в девичьей компании, причем на каждого юношу приходилось по три девушки. На мгновение мир показался Лигите таким же сияющим, как на балу в Дубултской гимназии, когда старшекласники и приятели ее братьев состязались за право покружиться в танце с бойкой барышней Дрейфелде. Прочие девицы с кислой улыбкой наблюдали за происходящим, и это лишь умножало победную радость Лигиты, — вздернув подбородок, откинув светлые волосы, она танцевала, танцевала, танцевала без передышки. В этот вечер все было почти так же, но каждая улыбка, каждое движение предназначались Ему. Он не танцевал, только смотрел молчаливо и от-страненно. Моя мама знала, что всего за несколько дней до высылки он женился, но 14 июня перечеркнуло все. Наконец Лигита услышала долгожданное: «Могу пригласить вас, барышня?» Внутренне смутившись, она предалась в Его руки. Маме хотелось молча пережить волшебство первых прикосновений, но глупая боязнь, что он разгадает ее чувства, заставила девушку безумолку щебетать и кокетничать. Еще пара танцев, и вечер кончился. Он проводил Лигиту до ее жалкой хибары и даже не поцеловал на прощанье.

Так началась первая любовь моей мамы. Ей не было суждено продолжение — слишком суровой была действительность. Вскоре Его послали в Прокопьевск на угольную шахту. Моя мама оказалась на острове смерти Былине. В 1945 году они начали было переписываться. Его мать, опасавшаяся, как бы сын не женился на одной из местных, многозначительно намекала Лигите, что ждет ее в гости. С благословения Эмилии моя мама тайком выбралась из деревни. До Прокопьевска нужно было добираться на попутных машинах, так как без разрешения комендатуры ей бы не продали билет на поезд, да к тому же и денег на него не было. Шестьсот километров в зимнюю пору — трудный, полный опасностей

- 154 -

путь. Когда наконец Лигита встретила с возлюбленным, обнаружилось, что трудные испытания изменили обоих и привели к отчуждению. Через несколько месяцев с тяжелым сердцем, с сознанием понесенного поражения Лигита вернулась к Эмилии. Пытаясь представить себе чувства этих двух обреченных на неволю людей, я удивляюсь, как посреди повсеместного горя они находили в себе силы любить. Он, ничего не знающий о судьбе своей молодой жены, и моя мама, в заштопанной юбке, переделанной из сохранившихся кусков шерстяного платка, в блузке, связанной своими руками из распущенных хлопчатобумажных носков, в тяжелых шнурованных башмаках на босу ногу. Оба голодные. Как при таких обстоятельствах возможно было глазами, полными любви и восторга, смотреть друг на друга?

Весна, которую с таким нетерпением ожидали, выдалась холодной, дождливой. Хлеба ссыльным уже не выдавали, и не оставалось ничего другого, как подчиниться распоряжениям комендатуры и работать в колхозе. Почти все колхозные лошади передохли от бескормицы, и тамошним жокакам не пришло в голову ничего лучшего, как использовать ссыльных вместо тяглого скота. Исхудалым женщинам приказали лопатами вскопать поле под посадки картофеля. В болотах заквакали первые лягушки, и Лигита наловчилась ловить их. Сваренные в воде, они по вкусу напоминали курицу. Всю зиму обитатели халупы собирали обрезки картофеля, чтобы в мае посадить их в только-только оттаявшую землю. Каждый картофельный

глазок был крохотным доказательством силы воли, каждая картофельная шкурка отнята у голодного рта. Жертвы оказались напрасными — 27 мая пришло распоряжение переместить латышей, живших в Большом Чигасе, в соседний поселок Парабель; туда же сгоняли ссыльных из окрестных мест. Эмилия болела малярией, и ее в полубеспамятстве перевезли и уложили на полу бывшей церкви,

- 155 -

получившей к тому времени статус поселкового клуба. Люди лежали на полу вплотную друг к другу. Жалкую еду готовили, разводя костер на речном берегу; там же умывались. Когда через месяц им приказали вновь переселяться, моя бабушка с приступом малярии уже справилась.

Там же, на берегу реки Парабели, Лигиту впервые впрягли в бурлацкую лямку и заставили тянуть баржу вверх по течению. Это был издревле известный в России каторжный труд, однако в царское время женщин среди бурлаков не водилось. Мама вспоминала, что самым трудным было пересекать малые притоки, — порой приходилось двигаться по горло в воде. Насквозь промокшая, голодная, она должна была часами брести по берегу, утопая в грязи. Баржу нужно еще и нагрузить, и разгрузить. Соль, кирпичи и прочее тащили километрами со склада на берег или с берега на склад. Кирпичи связывали: четыре штуки впереди, четыре сзади, и двести человек гуськом семенили от берега к складу. Со стороны это, должно быть, выглядело странно: люди, точно исполняя неведомый ритуал, высоко поднимали и медленно опускали ноги. Издали не было видно, что ноги эти, промокшие насквозь, опухли и воспалились. Веревки натирали плечи до крови, но — в дождь или ведро — за две недели груз был перенесен на баржи.

Большую часть ссыльных, собранных на берегу Парабели, пароходом «Тарас Шевченко» доставили на Былину, Небольшой остров у впадения речки Кети в Обь. Островок был плоский, кроме лозняка там ничего не росло. На берегу стояли четыре рыбацкие хижины и строение побольше — рыболовецкий комбинат, впрочем, никогда не работавший. Пароход ушел, оставив на куске суши триста человек, латышей и уроженцев Бессарабии — без крыши над головой, на съедение комарам и вьедливой, вездесущей мошкаре.

- 156 -

Матросы, отплывая, вслух говорили друг другу: подыхать их сюда привезли, не иначе! Их правота подтвердилась уже на следующий день: умер маленький мальчик. Былина стала последним пристанищем для многих. Из двухсот латышей остались там навеки пятьдесят<sup>145</sup>. Эмилии и Лигите повезло — они вернулись с острова смерти живыми.

На Былине часто шли дожди, и единственным укрытием служил дощатый навес. Места под навесом на всех не хватало, и оставшиеся под открытым небом сооружали что-то вроде палаток из одеял и простынь. На другой день после прибытия комендант распорядился снимать слой дерна для землянки. На земле обозначили прямоугольник площадью приблизительно 80 на 5 метров, по углам врыли столбы и вокруг, по периметру, уложили деревянное основание. Дерн нарезали одинаковыми квадратами и укладывали вплотную, кусок на кусок, выстраивая таким образом стену метровой толщины; для двери и окон были оставлены отверстия. Со временем

«окна» срослись со стеной.

При устройении землянки работы хватило не на всех, и часть ссыльных мобилизовали на сбор ягод, грибов и орехов. Эмилии и Лигите повезло — они оказались среди счастливиц, которых на лодках отвезли километров за десять от острова и оставили в лесу до поздней осени. Краски тайги, птичьи посвисты, голоса ветра и реки заставляли на время забыть тяжкую действительность, создавая иллюзию свободы. Природа в Сибири прекрасна и могуча. Человек перед ее лицом ощущает свою малость. В памяти моей мамы пребывание в тайге осталось единственным светлым пятном в былинской безнадежности. Вокруг было полно крупной и сладкой брусники; кусты черной смородины вздымались выше головы. Все успевали и выполнить норму, и вволю наесться, и заготовить в берестяных ведерках варенье на зиму. По

[145](#) Rūtiņa U. Vēl tā gribējās dzīvot. Pārdzīvojumu stāsts. — New York: Grāmatu Draugs, 1979. — 78. lpp.

- 157 -

вечерам жгли костер и в котелке варили ягоды на ужин, калили орехи. Утолив голод, предавались воспоминаниям о жизни в Латвии. Когда становилось совсем уж тоскливо, заводили песню, вспоминали забавные случаи, анекдоты. Рядом с Эмилией и Лигитой усердно трудилась певица из московского Большого театра — однажды после концерта она неосторожно заметила, что старые песни были ей как-то милей. Этого «преступления» было достаточно, чтобы послать ее «к белым медведям». Иногда артистка пела для товарищей по несчастью оперные арии, русские романсы. В окружении нетронутой природы, в качающихся отсветах костра ее голос звучал так странно и чарующе!

В конце сентября похолодало, октябрь принес первый снег, а за ним — и постылые лодки: нужно было отправляться на Былину. Самое скверное и жестокое ожидало их по возвращении. Охрана устроила обыск прибывших, и туесы с вареньем все до единого были отобраны...

Жизнь на Былине была такой же, как у заключенных в лагере, — ни малейших отличий<sup>[146](#)</sup>. Всем приходилось ютиться в переполненном бараке, почти никаких контактов с внешним миром не было. Разве что поселенцев не приходилось так строго охранять: летом сбежать с острова было невозможно, а зимой кто же побежит. И продовольственный паек был точно такой же, как в Гулаге, и никакой другой еды. На большой суше по крайней мере можно было выменять хоть немного картошки или молока. Самые предприимчивые зимой по льду отправлялись в ближайшее село, надеясь выменять что-нибудь из съестного на оставшиеся вещи, но местные уже смотрели на предложения чужаков с прохладней. Мизерная добыча не оправдывала энергии, затраченной на переход. Начался настоящий голод — ели солому и древесную кору, задохшуюся подо льдом рыбу. Люди стали походить на призраков, страдали от чирьев. После тяжелой

[146](#) Возможно, решение поселить 300 человек на необжитом острове связано с донесением начальника Новосибирского областного управления НКВД А. Воробьева заместителю наркома внутренних дел СССР В. Чернышеву от 22.08.1941 г.: «Ввиду большой отдаленности лица, которым надлежит отмечаться 2—3 раза в месяц в райотделах НКВД, не смогут выполнить это условие. По той же причине крайне затруднено административное наблюдение за контингентом. (..) Поэтому... в связи с военным временем я считаю необходимым: Отнести к ссыльнопоселенцам такой же режим, какой установлен утвержденным НКП СССР от 29 декабря

1939 года решением № 2122-617-пс о спецпоселениях...» На Былине было именно такое «спецпоселение». См. Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs / LVA. — Rīga: Nordik, 2001.—18. lpp.

- 158 -

зимы, для многих последней, в апреле, перед паводком, выживших перевели на «большую землю», в поселок Петропавловка. Эмилия и Лигита вместе с другими былинскими «товарищами по борьбе»<sup>147</sup> устроились в одной из незаконченных построек, которые предназначались в свое время для ссыльных российских немцев. Бурные весенние воды Оби и Кети смыли землянку, построенную с таким трудом, в одну минуту. Возможно, половодье размыло и неглубокие, выдолбленные в мерзлой земле могилы латышей, унеся кости погибших к Северному Ледовитому океану.

Зимы, проведенные на Былине и в Петропавловке, были самыми тяжелыми, но голод оставался неотъемлемой частью жизни Эмилии и Лигиты вплоть до 1947 года. Так же, как черный, непроизводительный рабский труд. Председатель колхоза использовал ссыльных на подсобных работах, даже пайку хлеба заработать на них было нелегко. Латышей отправляли то плести сети, то солить рыбу, вывозить бревна, строить бараки, валить лес, копать землю, грузить баржи, косить траву, копать картошку... Зимой им приходилось совсем туго — ведь не было ни подходящей одежды, ни обуви.

Когда, работая над книгой, я говорила с мамой об этом времени, то запрещала себе поддаваться чувствам. Моей задачей было не прервать нить воспоминаний — спрашивать по возможности бесстрастно, чтобы понять, как голод ослабляет тело человека и воздействует на его дух. Когда позднее прослушивала запись наших бесед, их мирное течение казалось невыносимым — ведь речь шла о вещах страшных. Рассказываемое будничным голосом мамы накатывало на меня волнами боли. Меня трясло, я вцеплялась в край стола, чтобы не завывать в голос. Больно было слышать и свой собственный деловой тон, когда я переспрашивала, какова на вкус крыса, или удивлялась, что мама не умерла, отведав конской падали. Все тем же будничным, без тени волнения

<sup>147</sup> Из числа былинских «островитян» сегодня живы и проживают в Латвии Айна Багинская, урожденная Залите, Мара Краминя и Харий Краминьш. Мать двух последних Вера Краминя умерла в 1941 году. Мать Аины Юлия Залите скончалась на другой день после возвращения с Былины, 3 марта 1944 года, двоюродный брат Аины Юрис Калбергс — через месяц, 6 апреля 1944 года. Олита Силиня в пятидесятых годах вышла замуж за ссыльного молдаванина и после освобождения уехала с мужем в Молдавию. Сейчас ее уже нет в живых. Витаут Силиньш вернулся в Латвию; он погиб в результате несчастного случая. Мать Олиты и Витаута умерла в Сибири в пятидесятые годы.

- 159 -

голосом мама отвечала, что у крысятины был вкус пыли и плесени, потом засмеялась: «Не так-то легко было ее заполучить! У твоей бабушки была знакомая в колхозном птичнике». И я смеялась с ней вместе: надо же, «блат» был нужен в советии на каждом шагу — даже и для того, чтобы заполучить крысу в крапивные щи! Когда вытерли слезы, выступившие на глазах от смеха, мама добавила: «И правда — чудо, что мы после всех этих дохлых лошадей, телят и крыс остались живы. Крысы были еще опаснее падали, они дохли от яда. Ничего, ели и не

морщились. Что-то ведь надо было есть...»

Только однажды найденной на берегу рыбиной мама отравилась. Лежала несколько часов без сознания, а когда очнулась, ничего не помнила и не понимала. Даже родную мать не узнавала.

Голод преображал все. Он занимал все мысли, определял разговоры. Прежние нормы вежливости и морали трещали под его напором и лопались по швам. Все, что раньше запрещалось, теперь оказывалось разрешено: ради еды позволялось красть и лгать. Моя бабушка так же, как другие, по ночам пускалась в экспедиции на колхозные картофельные поля — воровать картошку. За такое им грозила тюрьма, но что значит эта угроза в сравнении с голодом, да и чем тюрьма хуже того, что их окружало? Как-то к хибаре ссыльных прибудились утки соседей, не слишком близких. Ли-гита молча переглянулась с подругой Айной; птицы вмиг были пойманы, тут же ощипаны, изжарены и съедены. Когда сосед пришел справиться: не видели они его уток? — Эмилия без малейших угрызений совести соврала, что видела: утром они семенили в сторону леса.

Ели все. Траву, древесную кору, крапиву, гнилую картошку, льняное семя, лягушек, дохлятину. Желудок бастовал,

- 160 -

отказываясь переваривать массу пареной крапивы и других суррогатов, съеденное выбрасывалось из организма почти нетронутым. Каленое льняное семя одуряло, человек впадал в полубеспамятство, но голод так мучил, что видя в выброшенной из кишечника кучке непереваренное льняное семя, ссыльный готов был отмыть его и съесть еще раз. Голод видоизменял тело. Одни худели, другие набухали настолько, что разбухшие органы выделения не действовали. У Лигиты прекратились менструации. И с другими женщинами происходило то же. Месячные возобновились только в 1947 году, после того, как были получены первые продовольственные посылки из Латвии, и улучшилось общее положение после войны.

Эмилия беспомощно смотрела, как на глазах тает ее дитя. На Былине пышные светлые волосы Лигиты обрезали, оставив чисто символическую прядку на лбу. Голая голова покрылась гнойными нарывами. Вши, поблескивая разжиревшими темными спинками, лакомились болячками, точно деликатесом. В Петропавловке Лигита захворала малярией; для истощенного тела болезнь могла стать смертельной. В распоряжении Эмилии была лишь мокрая тряпка — наложить компресс на пылающий лоб девушки, лежащей в полубреду. Эмилия и сама исхудала до крайности — кожа да кости, но, отрывая от себя последний кусок, протягивала дочке. Самым ужасным было то, что Лигита желала смерти, и Эмилии не удавалось вырвать ее из голодной апатии, пробудить волю к жизни. В те мгновения, когда к Лигите возвращалось сознание, мать рассказывала ей об отце, о том, как он любит свою Лигиточку, и умоляла: «Ты не должна обездолить отца... Он этого не переживет!» И напоминала ей об их жизни дома, в Дубулты, о том, как озорничали она и братья, — они ведь тоже ждут ее возвращения! Она расписывала угощения, которые снова достанутся Лигите на

- 161 -

родине — столы, ломающиеся от яств, дымящиеся чашки какао, розовый даугавский лосось, душистое сало. Только выдержи! Лигита молча смотрела на мать огромными на исхудалом лице, мерцающими глазами, которые становились нее прозрачнее. Каждый раз, когда дочь

снова впадала в беспамятство, Эмилия в отчаянии взывала к Богу. Все у нее взято — муж, трое сыновей. Не отнимай же последнего!

И свершилось чудо. Кто-то раздобыл несколько пачек хинина, и Лигиту удалось выхватить из когтей смерти.

Роптала несчастная мать и на возраст, на слабость, не дававшие ей еще больше работать, — Лигите, чтобы встать на ноги после тяжелой болезни, требовалось полноценное питание, а где его взять? Даже тело ее было слишком старым, чтобы продать его за несколько картофелин какому-нибудь плотоядному мужичку. Однако Эмилии удалось разжалобить местную кладовщицу, та иногда звала ее поработать в доме или на огороде, платой была все та же картошка или объединенные рыбы кости. Это было по-своему великодушно — поселковые и сами-то к весне ходили полуголодными. У Эмилии чудом сохранилось несколько десятков спичек, привезенных из Латвии. За них она получила от одного крестьянина теленка, сдохшего за несколько дней до этого и уже вздувшегося. Она вырезала из туши лучшие куски, долго-долго варила их, затем дала Лигите. Со всеми этими добавками и скудной хлебной пайкой Эмилии удалось протянуть до настоящей весны. Теперь можно было есть чистые вещи — крапиву, лягушек. А потом Эмилии неслыханно повезло. Нашелся среди местного начальства щеголь, которому приглянулись ее золотые часы, до тех пор никого не интересовавшие. Он раньше жил в городе и знал им цену. Эмилия выменяла часы за невероятно высокую цену: целый пуд ржаной муки, ведро соленых карасей и десять килограммов свежей рыбы! Теперь самое трудное было позади.

- 162 -

Весна принесла долгожданную радостную весть. «Война кончилась! Война кончилась!» — услышала Эмилия. Она посмотрела в окно и увидела, как, размахивая поднятыми руками и смешно подпрыгивая, российский немец Кауфман несется по лужам и остаткам сугробов и выкрикивает снова и снова: «Война кончилась!» Ноги Эмилии подломились, она откинулась на кровать. Новость была такой огромной. Медленно в глубинах ее существа зарождалась безумная надежда: «Лигиточка! Домой! Мы с тобой наконец-то поедem домой!» Мать с дочкой обнялись и заплакали от счастья...

Дни проходили за днями, и надежды, вспыхнувшие с окончанием войны, постепенно гасли. Моя мама вспоминает, с каким жаром люди уверяли друг друга, что теперь-то Запад им поможет. Ну не позволит же свободный мир, чтобы все эти ужасы продолжались! И как только Латвия будет свободной, все смогут вернуться домой. Если кто-то пытался сказать, что никому в мире нет дела до них, прозябающих в далекой Сибири, их голоса заглушались протестами. Человеку необходимо верить в лучшее, и потому в воображении страдальцев англичане, французы и американцы превратились в рыцарей справедливости, чья миссия — защищать несчастных и наказывать злодеев. Большинство забыли или притворились, что не помнят нечистые политические игры предвоенной поры — Мюнхенский сговор или одинокую борьбу Финляндии с СССР. То было самовнушение, напрочь оторванное от действительности, но оно помогало сохранять надежду и выжить.

Летом Эмилии и Лигите в очередной раз пришлось переезжать. Им приказали перебраться в соседний поселок Боровой. Зачем — непонятно: на работу нужно было ходить в ту же

Петропавловку. Замученная бессмысленными

- 163 -

передвижениями и слабостью, Эмилия зимой 1946 года однажды заблудилась и едва не погибла. Бригадир послал ее с каким-то известием из Петропавловки в Боровой. Путь недалекий, каких-нибудь пять-шесть километров по знакомой тропе. Вечером обнаружилось, что Эмилию никто не видел. Собрали людей и отправились на поиски пропавшей.

В тот раз Лигита совершенно потеряла голову. Ее ровесницы Мара и Айна уже осиротели — их матери не выдержали нечеловеческих условий. Лигите почудилось, что наступил черед ее мамы. Она рыдала взахлеб, почти потеряв рассудок от горя. Самоотверженная любовь Эмилии давала чувство защищенности, надежности, и Лигита воспринимала ее со свойственным детям эгоизмом как нечто само собой разумеющееся. Теперь моя мама с беспощадной ясностью поняла, что не сможет жить без Эмилии. Люди, ходившие на поиски, возвращались в сумерках; с каждым днем шансы найти пропавшую уменьшались: на дворе стояли тридцатиградусные морозы. На четвертое утро Эмилию обнаружили дети из соседней деревни, шедшие в школу. Все это время моя бабушка блуждала невдалеке от дома. Не иначе как леший «водил», сбивал ее с дороги.

Бродя по зимнему лесу, Эмилия знала, что ее единственное спасенье — в движении, и принуждала свое отощавшее, изнуренное тело не останавливаться. Нельзя было поддаваться соблазну и уснуть, растянувшись на снегу. Это была бы верная смерть. А Эмилии нужно жить, ведь ее дитя пропадет без матери. На третью ночь сил идти уже не оставалось. Чтобы не уснуть, она собирала обломанные ветром сучья и крошила их на куски, готовила себе смертное ложе. Эмилия знала: эта ночь будет последней. Больше ей не выдержать. Утром, услышав детские голоса, она собралась с последними силами и закричала. На счастье, школьники услышали ее слабый голос. Когда Эмилию на санях привезли

- 164 -

в деревню, обмороженный нос уже начал распухать. Поздней кончик носа отвалился. Были отморожены также пятки и пальцы ног, однако гангрена не началась, и со временем почти все зажило. Только большой палец левой руки остался неживым, бездвижным.

Ближайшая больница находилась в сорока километрах — в городе Колпашево. Эмилию закутали в тряпки, собранные по соседям, усадили в сани — многочасовой путь начался. Остановились только раз, чтобы согреться и попить чаю. Теплой одежды у Лигиты не было — лишь обтрепанный ватник. Под тонкой юбкой — короткие трусы и только; ватные «сапоги» на деревянной подошве... Когда добрались до Колпашево, замерзшие голени при прикосновении к ним звенели, как металлические. Поздней кожа почернела и целым слоем сошла. Лигита не могла оставаться в Колпашево. Убедившись, что угрозы для жизни мамы больше нет, она на другой день пустилась в обратный путь. Возница уехал еще накануне, ей не оставалось ничего другого, как идти пешком. На то, чтобы одолеть сорок километров, понадобился весь день. При быстрой ходьбе холод не так ощущался.

Эмилия пролежала в больнице несколько месяцев. Скромная больничная пища казалась королевской после пережитого голода. Тамошние латыши заботились о моей бабушке как умели. Каждый от себя отрывал что-нибудь съестное: вареную картошку, морковку, кусочек

рыбы. Лигита навещала маму редко: не хватало сил прошагать сорок километров туда и столько же обратно. Она писала матери письма и посылала с оказией.

Эмилия встала на ноги ближе к весне. Солнце ходило уже высоко, но снег еще не стаял. Лигита просила в колхозе лошадь — привезти маму, но ей отказали. Пришлось самой запрячься в санки и везти маму домой. Временами Эмилия

- 165 -

пыталась идти самостоятельно, но вскоре, обессилив, снова валилась на санки. Моя бабушка плакала от отчаяния. Невыносимо было видеть, как Лигита медленно, по-старушечьи, бредет, таща вперед санки. Хорошо, дни в апреле уже длинные — сорок мучительных километров они одолели к ночи. В дороге их единственной едой были несколько вареных картофелин, и обе знали, что дома тоже пусто.

## ПЕРЕМНЫ

Первое письмо пришло от Анны, сестры Эмилии, весной 1946 года. Бабушка и мама много раз писали родным в Курземе, но ответа не было<sup>148</sup>. Им не пришло в голову, что письма не достигали адресата по простой причине — Латвия находилась по ту сторону линии фронта. После войны Анна получила накопившиеся послания, писанные на бересте<sup>149</sup>, и теперь могла связаться с сестрой. Из письма Анны Эмилия, наконец, узнала, что все ее сыновья живы и что она стала бабушкой. Вольдемар женился на Зенте, у них сыновья — Юрис и Янис, у Арнольда — дочка Марите и сын Андрис. Анна дала понять, что Вольдемар с семьей, Виктор и Арнольд в безопасности, но жена Арнольда Нелли вместе с детьми живет отдельно, в Вентспилсе. Письмо Анны читали и перечитывали не только Эмилия и Лигита, но и все остальные латыши, поселенные в Боровом, пока оно не истерлось. Вести с родины касались не только получателей, они принадлежали всем — судьбы ссыльных так переплелись, что они ощущали себя единой семьей с общими бедами и радостями.

Анна писала обиняками, ничего не говоря прямо, но Эмилия сообразила, что сыновья за границей, — где же еще можно быть «в безопасности»? Перед окончанием войны Вольдемар, Арнольд и Виктор действительно оставили Латвию. Точных сведений об их местожительстве не было — эмигранты избегали писать близким, боясь навлечь на них неприятности, да и свой настоящий адрес старались не указывать. В Германии, в лагерях перемещенных лиц, ходили слухи, что

<sup>148</sup> В воспоминаниях других ссыльных говорится о первых письмах, полученных весной 1945 года. Они были посланы из той части Латвии, которую в октябре 1944 года заняла Советская Армия. Переписка с людьми, жившими в пределах так называемого Курземского котла, стала возможной только после мая 1945 года.

<sup>149</sup> Из-за нехватки бумаги ссыльные в первые годы нередко посылали родным и близким письма, написанные на бересте.

- 170 -

на союзников нельзя полагаться: те по требованию советских властей выдают жителей Балтии русским<sup>150</sup>. Для «перемещенных лиц» это равносильно гибели. Все были наслышаны о жестокостях, творившихся в той части Латвии, которую советские войска заняли в октябре 1944

года. Страшно подумать об участи тех несчастных, которые в день победы оказались в советской зоне оккупации в Германии. Все они были загнаны в вагоны для скота и отправлены в Советский Союз<sup>151</sup>.

Вторым великим событием стала посылка, полученная из Латвии весной 1946 года. Она пришла раньше, чем другим латышам: Анна ухитрилась отправить ее поездом сестре своего мужа в Москву, а та уже переслала дальше, Эмилии и Лигите. К тому времени связи Латвии с «бескрайней советской Родиной» еще не были восстановлены в полной мере. На ближайшую почту в Усть-Чаю за посылкой нужно было идти шестнадцать километров. Первая половина пути вела через болота узкой извилистой тропинкой, обозначенной сучьями, хворостом, щепками, — такая ненадежная гать. Снег таял, тропу то и дело пересекали ручьи, их надо было переходить вброд. После долгой болезни у Эмилии не хватило сил — на полпути, в Петропавловке, она осталась, и Лигита в одиночестве продолжила путь. Посылка, упакованная в тяжелый фанерный ящик, весила больше десяти килограммов. Поспешив уйти с глаз любопытной работницы почты, моя мама кинулась открывать ящик — там должно быть что-нибудь съестное! Но крышка была приколочена на совесть. Сколько ни старалась Лигита открыть ее щепкой или каменным осколком, ничего не получалось, пока ей не пришлось на ум воспользоваться заколкой для волос. На удивление, дело пошло! Гвозди подались, ящик открылся. Сверху лежала одежда. Лигита откинула ее в нетерпении — и у самого дна увидела вождеденное добро: консервы, сахар

<sup>150</sup> На Ялтинской конференции 04.—11.02.1945 союзники договорились о репатриации граждан СССР. Жителей территорий, аннексированных Советским Союзом в 1940 году, спасла нечеткая формулировка в договоре с дефиницией территории СССР «в границах на 1 сентября 1939 года». Однако в результате давления СССР в период с 1943 по 1947 год союзники выдали советской стороне около 2 272 000 советских граждан, в том числе беженцев, покинувших Россию после большевистского переворота 1917 года и никогда не имевших советского гражданства. В январе 1946 года правительство Швеции, невзирая на протесты общественности, выдало Советскому Союзу 130 латышей, 7 эстонцев, 9 литовцев. См. Tolstov N. Victims of Valta (Жертвы Ялты). — Corgi Book, 1990. — p. 468,481,515.

<sup>151</sup> В Германии в советской зоне оккупации в день Победы были взяты в плен 36 000 латышских солдат. См. Neiburgs U. Karagūstekņu traģēdija (Трагедия военнопленных) // Lauku Avīze. — 2001. — 8. maijā.

- 171 -

и большой шмат копченого деревенского сала. Моя мама с жадностью вонзила зубы в пахучую мякоть. Какой вкус! Какой аромат! С голодной яростью она хватала, кусала, рвала «убами», глотала — пока со стыдом не вспомнила о маме. Кое-как запихав содержимое посылки обратно, Лигита занижала ящик в платок, взвалила его на плечи и двинулась в путь. Груз был таким тяжелым! Все чаще приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Солнце указывало на то, что вечер все ближе. Ее обогнала женщина из местных, и Лигита попросила передать Эмилии, что дальше идти она не в состоянии. Так, собравшись в комок, она и осталась ждать. «И вот мама на своих тонких ножках пришла, потащила посылку дальше. Нас обеих шатало от

слабости...» — всхлипывая, вспоминала моя мама.

Все латыши, жившие в Боровом, собрались отметить событие. В посылке обнаружили три теплых куртки, фланелевые ночные рубашки, платья, нижнее белье, одеяло, простыни, полотенца, мыло. То было огромное богатство, и каждый его осмотрел, пощупал, обласкал. Давно уже не приходилось держать в руках столь красивые вещи, с момента их высылки одежда все ветшала и разрушалась, пока не превратилась в жалкие, штопанные и перештопанные отрепья. Обувь давно была сношена, ее заменяли самодельные «сапоги» из ваты с деревянными подошвами. Как драгоценность гости принимали от Эмилии тонкие ломтики деревенского сала. Женщины, правда, пытались отказываться, но настаивать на своем было свыше человеческих сил, и небывалый деликатес вскоре таял во рту.

Впервые за последние годы у них было душистое мыло, чистая постель. Эмилия заикнулась о том, что лучше бы ограничиться одной простыней, вторую приберечь про запас, но Лигита не согласилась, и обе, совершенно счастливые, уснули Между двух простыней под новым, теплым одеялом. Каждый

- 172 -

раз при воспоминании об этой минуте на лице моей мамы мелькает отсвет радости, пережитой тогда.

В мае 1947 года сестра Анна переслала Эмилии и Лигите письмо Виктора, полученное окольными путями из-за рубежа. Читая его, Эмилия и Лигита никак не могли пойти дальше слов «Милая мамочка и сестренка!» Обе снова и снова заливались слезами — слезами волнения и счастья. Так давно, так страшно давно Виктор говорил им это в последний раз. Теперь он находил чудесные слова: «Когда все мы будем опять вместе, тебе, мама, нужно будет пожить сперва у одного сына, потом у другого». Виктор тоже женился, у него у самого теперь была дочка Даце. «У меня пять внуков!» — радовалась Эмилия. В тот миг она верила тому, о чем писал сын: скоро, совсем скоро обе они вернутся в Латвию. А там и все они встретятся! Не было дня из прожитых здесь, в голоде и холоде, когда бы Эмилия не вспоминала мужа и сыновей, Лигита — отца и братьев, когда бы обе не мечтали о встрече. Дни рожденья, именины родных людей отмечали, пускаясь в воспоминания — и забывая хоть ненадолго беды и безнадежность, возвращаясь мысленно в светлые дни, когда вся семья была в сборе. Эмилия старалась не показать дочке, как она тревожится о судьбе мужа и сыновей. Она говорила всегда с такой силой убеждения, что и моя мама твердо верила: у братьев все в порядке, и отец тоже жив. Вот ведь и они, наперекор всему, выжили! Письмо Виктора было глотком надежды, обещанием радости. Скорой. Очень скорой!

В тот же вечер Лигита написала ответное письмо, которое просила переслать из Латвии Виктору. После первых изъявлений радости следовало горькое признание: «Мы живем в мрачном поселке. Мама сделалась старой-старой. Я уже выросла, и мое главное занятие — распилка дров. Мама уже год как не работает — она зимой 1946 года заблудилась

- 173 -

в лесу, три дня бродила по болотам и ужасно обморозилась. Ома выздоровела, только вот нос

стал покороче и один пален на руке не действует. Ты, наверно, знаешь, что мне уже 20 лет... Когда говорим с мамой, мы всегда называем вас мальчиками. А какие же вы теперь мальчики!»<sup>152</sup> Как тяжело было Виктору читать все это! Что они, распроклятые, сделали с его милой мамой и нежно любимой сестренкой! Однако продолжать переписку Виктор не решил. Он понял из ответа тети Анны, написанного почерком ее мужа Яниса и подписанного почему-то чужим именем «Рута», что его письма слишком опасны для получателей. В письме Анны содержалось зашифрованное предостережение: братья не должны возвращаться в Латвию<sup>153</sup>. Дядя Янис писал: «Лигита живет у своей мамы (...) в той же квартире, где жила в 1943 году. Если бы вы переехали, вам пришлось бы устроиться у них, так как там большая жилплощадь и места хватило бы вам всем»<sup>154</sup>. Переписка возобновилась только в 1955 году после разоблачения культа личности Сталина — письма от родственников за границей в это время уже не были столь опасны для оставшихся в Латвии и высланных в Сибирь.

Эмилии больше не суждено было увидеть своих сыновей, узнать тогдашних и будущих четырнадцать внуков. Моя мама встретила братьев только спустя долгие годы. Старший брат Вольдемар приехал в Латвию в 1982 году. Он догадывался, как тяжело будет видеть весь тот урон, что нанесли Латвии годы оккупации, но тем не менее решил и поехал, так как всякая надежда на то, что сестра сможет навестить их, пропала. Шестнадцать раз подавала мама в Министерство Внутренних дел просьбу выдать визу, чтобы проведать брата в Канаде, и шестнадцать раз получала отказ<sup>155</sup>. Всякий раз готовый бланк отказа впечатывали на пишущей машинке: «Ваша поездка признана нецелесообразной». Очень советская формулировка — действительно, какая же может быть

<sup>152</sup> Письмо Л. Дрейфелде В. Дрейфелду от 16 мая 1947 года.

<sup>153</sup> Не имеется точных данных о том, сколько беженцев поддались обещаниям советской пропаганды. По оценкам историков, таких было не больше 3 процентов от общего числа эмигрировавших. Известно, что в 1945/46 гг. в Советский Союз репатриировались 3650 военнослужащих. См. Neiburgs U. Karagūstekņu tragēdija // Lauku Avīze. — 2001. — 8. maijā.

<sup>154</sup> Письмо Я. Думписа и А. Думпе В. Дрейфелду. 07.07.1947.

<sup>155</sup> В визовый отдел Министерства внутренних дел ЛССР следовало подавать следующие документы: вызов приглашающего, заверенный в посольстве СССР; квитанцию об уплате госпошлины; характеристику, утвержденную партийным комитетом по месту работы; письменное подтверждение того, что муж или жена заявителя не возражают против его поездки за границу; автобиографию, в которой необходимо было указать всех родственников, проживающих за рубежом; справку о прописке; анкету с точными сведениями о всех живых и мертвых родственниках первой степени родства; четыре фотографии.

- 174 -

государственная целесообразность в семейных, чисто человеческих связях! Лишь в 1987 году, когда под влиянием новой политики М. Горбачева процедуру посещения родственников упростили, моя мама получила долгожданное разрешение. Виктор и Лигита встретились в Монреальском аэропорту — с того дня 14 июня 1940 года, когда Виктор в отчаянии наблюдал, как чекисты увозят, увозят на грузовике его родителей и сестру, прошло уже сорок семь лет. Средний брат, Арнольд, чтобы встретить сестру, прилетел в Торонто из Англии. То была их

последняя встреча: спустя год он скончался.

Уже летом 1946 года в Красноярском крае и Томской области молнией разнеслась весть, что прибыла комиссия из Латвии, чтобы забрать высланных в 1941 году детей. Это была рабочая группа Министерства образования, в задачу которой входило вернуть на родину сирот или полусирот в возрасте от четырех до шестнадцати лет<sup>156</sup>. При виде оборванных, крайне истощенных детей, стекавшихся в Красноярск из окрестных поселков и из детских домов, руководитель группы Анна Лусе нарушала строгие инструкции Министерства образования — кого брать, кого оставлять. Она не могла отказать отчаявшимся матерям, умолявшим спасти их детей, и многих не-сирот вписала в сиротские списки. Местные учреждения получили из Москвы указание предоставить списки латвийских детей и всячески способствовать их реэвакуации. Однако каждый начальник толковал распоряжения центра по-своему. Одни помогали, другие всячески тормозили дело, изводили мелочными придирками, отказывались утвердить списки. Без позволения краевого отдела внутренних дел уехать не мог никто. И все-таки, преодолев бюрократические препоны, до конца навигации 1946 года удалось вывезти в Латвию 1425 детей<sup>157</sup>. Матери оставшихся в Сибири детей получили обещание, что реэвакуация будет продолжена в следующем году. Обещание осталось невыполненным:

<sup>156</sup> Sfaris A. 1941. gadā okupantu izsūtīto Latvijas iedzīvotāju bērnu ērkšķainais atceļš uz] dzimteni (Тернистый путь домой латвийских детей, высланных оккупантами в 1941 году) // Latvijas Vēsture.— 1995. — Nr. 1. — 37.—44. lpp.

<sup>157</sup> Там же. — По предварительно составленным в Латвии спискам, реэвакуации подлежали всего 600 детей. На эти цели было выделено 180 тысяч рублей.

- 175 -

советская власть распорядилась иначе — заготовленные списки отправили в архив, и «социально опасные дети» продолжали чахнуть в Сибири<sup>158</sup>.

Дети уезжали — и казалось само собой разумеющимся, что через какое-то время за ними последуют их матери, а там придет черед и остальным. Все засуетились, начали писать прошения. Лигита тоже. В ее заявлении говорилось о том, за Эмилией и ею не числится никакой вины, что их выпали при самых неясных обстоятельствах. Девушка просила пересмотреть дело, обещала, что будет достойной строительницей социализма в Латвии. Началось ожидание — напрасно, потому что ответа никто не получил. Знакомясь в архиве маминым делом, я не нашла там ни одного из прошений, которые она в первые годы ссылки отправляла в Президиум Верховного Совета СССР и в ЦК КПСС. Должно быть, ни так и оставались в пределах Томской области и либо были уничтожены, либо пылятся в архивах местного КГБ.

В поселке Боровой к зиме 1947 года в колхозе оставалось сего несколько латышей. Остальные разбрелись, так или иначе ухитрились найти себе другие занятия. Из тех, кто вместе с мамой пережил зиму на Былине, первой вышла замуж Айна и с мужем Юрием Багинским перебралась в город Колпашево. Небольшая группа латышей обосновалась в Тогуре — поселке, где можно было найти работу на лесосплаве, на шерстопрядильном комбинате, на лесопильне. Лигита, узнав, что в Тогуре требуются рабочие, решила вместе с подружкой тоже попытать счастья, и без разрешения комендатуры обе пустились в путь.

Тогдашняя поездка — один из редких моментов, о которых мама рассказывала без горечи,

наоборот — с улыбкой. Они запрягли в сани уведенного тайком колхозного быка, наворачивали побольше тряпок на ноги, накинули на

[158](#) Там же.

- 176 -

голову платки. Настроение у девушек было веселое, поездка была каким-никаким, а приключением. Выбравшись из поселка, подруги подгоняли быка, а тот и без того споро бежал по крутому уклону. Девушки распевали во все горло непонятную песню, услышанную от ссыльных немцев: "Mahle st von Afrka. Mahle st ncht schon!"<sup>159</sup> Лигита вела первую партию, Мара пела почему-то басом. Их «конь», обернувшись к седокам и кося налитым кровью глазом, от испуга побежал рысью. Постепенно, сообразив, что от пассажирок никуда не денешься, он успокоился и перешел на мерный, неспешный шаг. Утихомирились понемногу и девушки. К середине дня, замерзшие, уставшие от тряски, они прибыли в Тогур. На комбинате, как оказалось, действительно не хватало рабочих рук, и директор охотно согласился уладить с комендатурой вопрос об их переезде. Погостив у знакомых латышей, Лигита и Мара тронулись обратно в Боровой. Бык, однако, становился все беспокойнее. Ближе к дому он и вовсе вышел из повиновения — ни посвист кнута, ни сердитые окрики на него больше не действовали. И вдруг, к вящему испугу девушек, он рванулся в сторону от дороги, в поле. Храпя и роняя с губ клочья пены, он двигался по снежной целине, проваливаясь по брюхо в сугробы. Только при виде заснеженного, серебристого в свете луны стога соломы Лигита и Мара поняли, в чем дело. Бык не взбесился, он всего лишь зверски проголодался. Покормить его путешественницы забыли, и за весь долгий путь во рту у него не было ни маковки, ни росинки. И смех, и грех; мама рассказывала мне и улыбалась — «Вот дурные!»

Тогур был первым местом, куда Эмилия и Лигита перебрались по своей воле. Это и последнее для мамы место ссылки — там она с небольшим перерывом прожила десять лет. В Тогуре умерла моя бабушка Эмилия, там мои родители поженились и родилась я.

[159](#) «Мале из Африки. Мале некрасива!» (Нем.)

- 177 -

И снова в воздухе повеяло надеждой. Некоторые из ссыльных получили разрешение вернуться в Латвию, и все, точно наэлектризованные, ждали, кто на очереди, кому следующему улыбнется счастье. Эмилия и Лигита говорили о возвращении каждый день. Неясно было, по каким критериям отбирают тех, кого выпускают на волю. В большинстве это были люди примерно того же возраста, что и Лигита, но рассказывали, что и стариков отпускают. Опять же трудно было понять, есть у них шанс уехать вдвоем или только поодиночке. Если сперва освободят одну из них, то, думала Лигита, это должна быть мама — ее как ни на что не годного инвалида, небось, отошлют домой, а ее подержат на тех же лесных работах. Каждый раз, когда разговор заходил об этом, Эмилия восклицала: «Что ты, Лигиточка, я без тебя никуда не поеду!» — И тут же добавляла: «Тебе-то да, тебе точно надо ехать!»

В апреле 1948 года моя мама получила вызов из Тогурской комендатуры. И она, и Эмилия всполошились. После такого долгого ожидания они боялись поддаться надежде, ведь если она опять обманет, жить станет еще трудней. Всю дорогу до комендатуры Лигита про себя повторяла: не может быть! И однако снова и снова, как горячая волна, захлестывала все ее

существо мысль — а вдруг? Лигита сидела, ожидая приема. Секретарша начальника, казалось, смотрит на нее как-то по-особенному. Наконец, ее вызвали. Комендант Кукушкин, по прозвищу Кукушка, восседал за столом. Для важности он выдержал долгую паузу, выдал несколько банальных фраз и наконец, не сводя глаз с собеседницы, сообщил: «Лигита Яновна, советская власть оценила ваше поведение и позволяет вам вернуться в Латвию. Вам дана возможность доказать, что вы этого доверия достойны». Лигита побледнела и выдохнула: «Но... моя мама?» Это позже,

- 178 -

со временем, отвечал комендант. Сперва разрешено вернуться лицам, родившимся после 1925 года. Порадуйтесь за себя!

Точно во хмелю, вышла моя мама на улицу. Свободна! Она свободна! 15 апреля 1948 года в регистрационной карточке Лигиты Дрейфелде сделана последняя отметка комендатуры.

До начала навигации оставалось меньше месяца. Эмилия, вне себя от радости, готовила дочку в дальний путь. Перешивала со старанием, подгоняла присланную им одежду. Родственники прислали из Латвии и деньги на дорогу. Моей бабушке было присуще особое искусство — поддерживать дружеские отношения с нужными людьми; этот свой дар она в очередной раз пустила в ход и добыла у местной кладовщицы муку — испечь доченьке лепешки в дорогу. Лигита в Тогуре была не единственной счастливицей. Олита Силяня тоже получила разрешение вернуться на родину. Маре и Айне пришлось остаться — они были старше. В начале мая, наконец, Обь очистилась ото льда, сошли полые воды. Все с нетерпением ждали прибытия в Колпашево первого парохода. Лигита старалась не думать о предстоящей разлуке с мамой. Эмилия глубоко-глубоко запрятала свою боль — больше всего она боялась, что дочка передумает и решит остаться с нею. Этого нельзя было допустить, и Эмилия делала беззаботное лицо; мягким курземским говорком она уговаривала Лигиту не сомневаться: «Скоро, доченька, и я туда подъеду!»

Все латыши, живущие в Тогуре и Колпашеве, собрались у Айны, чтобы проводить Лигиту и Олиту. Настроение было скорее радостным: рано или поздно и они будут свободны. Молодежь провожала Лигиту и Олиту до самого парохода. Лигита упросила маму не ходить на пристань — боялась,

- 179 -

что не сможет уехать. Прощались там же, у Айны. Эмилия плакала. Она хоть и решила твердо, что не будет огорчать свое дитя, но расставание оказалось свыше ее сил. Плакала и Лигита.

Так, в перешитом из старых одежд платье, в туфлях, присланных ей из Латвии бабушкой Либой, и с вещевым мешком в руках Лигита в первых числах мая начала путь домой. Плыть и ехать ей предстояло 6000 километров.

Когда пароход отошел от причала, Лигита увидела на берегу Эмилию. Она закричала, замахала руками, как безумная, но мама стояла, точно оцепенев, не отводя широко раскрытых глаз от дочки. До последнего смотрела и Лигита на Эмилию, покуда крохотная серая фигурка не исчезла за излучиной Оби. Навсегда она сохранила в памяти мгновение, когда в последний раз увидела свою мать живой.

## МОЯ БАБУШКА ЭМИЛИЯ

После отъезда дочери жизнь Эмилии словно бы разделилась надвое. Эмилия хотя и работала, чтобы разжиться какой-никакой едой и поддерживать в себе дыхание, но это ей самой казалось несущественным. Она и жила-то лишь для того, чтобы однажды воссоединиться с дочкой. Покуда это было невозможно, Эмилия создавала для себя особое духовное пространство, и там, в этом заветном круге, находилась и теперь вместе с Лигитой. Это было точно нескончаемое рукоделие, огромная вышивка, над которой трудился без остановки дух Эмилии; источником неиссякаемого вдохновения при этом служили ей письма Лигиты. Моя бабушка сама была не в состоянии прочесть их, глаза у нее совсем ослабели, поэтому всякий раз нужно было искать помощи. Когда письмо бывало оглашено вслух, а затем еще и еще раз прочитано, оно впечатывалось в память Эмилии и уже там продолжало жить, прирастая значением и глубинным смыслом. Каждое упомянутое дочкой лицо, каждый эпизод моя бабушка безотлагательно вплетала в предыдущую картину, пока новое не укоренялось и не соединялось множеством связей со всем тем, что уже раньше жило в ее воображении. Чем дальше в прошлое, тем гуще и многослойнее было переплетение нитей. Чем ближе к последнему письму, тем прозрачнее и рыхлей было ее творение. Из него длинными концами выглядывали неотвеченные вопросы. Найти ответ, преодолеть пустоту неведения! — но каждый новый ответ порождал новые вопросы. И так моя бабушка без усталости продолжала жить жизнью Лигиты. Эмилия чувствовала себя в

- 184 -

созданном ею духовном пространстве как дома, посторонней казалась ей реальная жалкая повседневность. Зато в ее воображении никто не мог хозяйничать, оно принадлежало только ей, из созданного ею мира нельзя было никакими запретами и распоряжениями выслать ее или заставить переселиться в другое место.

В семейном архиве сохранилось пятнадцать писем моей бабушки Эмилии. Первые накарябаны простым карандашом на случайных листочках или обрывках бумаги — в послевоенные годы бумаги в Сибири не хватало. Потом уже, после получения посылки из Латвии, Эмилия писала на тетрадных листках чернилами. Писала спонтанно, словно бы разговаривая со своей дочерью, и чувствуется, что рука с отвычки не поспевает за мыслью; почерк неровный, местами почти неразборчивый, иная фраза не закончена или выражена не вполне ясно. Как коренная жительница Курземе она то и дело использовала мужские окончания в словах женского рода, что придает письмам особую выразительность. Читая их, я представляю, как эти слова, почти вышедшие ныне из употребления, звучали в устах моей бабушки, — после возвращения из Сибири почти такие же слова и выражения я слышала от ее сестры Анны, говорившей тоже с протяжной курземской интонацией; ее говор выделялся и непривычной ритмикой. В письмах Эмилии раскрывается ее нежная, сердечная натура. Они переполнены ласкательными словечками, каждое оканчивается «тысячью поцелуев», в каждом названы по именам друзья и знакомые Лигиты, оставшиеся в Сибири и посылающие ей приветы. Мне особенно значимыми представляются пересказы снов Эмилии, приоткрывающие тайны ее подсознания. Во сне она снова вместе со своей семьей, но в картины безоблачного счастья всегда вторгается тревожная нота — в ней и боязнь за близких, и догадка о недостижимости покоя и счастья.

Лигита тоже писала помногу и часто, ее соединяло с матерью нечто более сильное, чем просто кровное родство. Такая связь образуется между людьми, пережившими сообща экзистенциально крайние ситуации. Обе они в свой черед почти переступили тот опасный рубеж, за которым — небытие, и потому знали, насколько незаменимы друг для друга. Всякое было пережито — и высокое, и унижительное, и не было ничего такого, что Лигита не решилась бы рассказать маме, ибо сознавала, что Эмилия любит ее и принимает такой, какова она есть.

По расчетам Эмилии, числа десятого июня могло прийти письмо от Лигиты, так как добраться до Латвии она должна была в конце мая. Письма не было. С каждым днем волнение возрастало. Не случилось ли чего в пути — о беспорядках на железной дороге рассказывали жуткие вещи. А может, дочка заболела? Каждый второй день Эмилия шла на почту. Почтальонша старалась успокоить измученную тревогой «Яновну»<sup>160</sup>, но это помогало ненадолго. Эмилии нужно было возвращаться, ее ждали многочисленные и кропотливые обязанности прислуги. Несколько дней она стирала белье в одном доме, затем переходила в другой... Наконец-то пришли сразу три письма.

Эмилия сразу поспешила к подруге Лигиты Айне, и началось чтение. С первыми трудностями Лигита столкнулась в Томске, откуда предстояло ехать поездом до Новосибирска. Чтобы купить билет, нужно было предъявить справку о прохождении вошебойки; эту важную бумагу выдавали в бане. Обе с Олитой двинулись напрямик туда, однако обознались и попали в мужское отделение. То-то было смеху! Справка справкой, а за билетами нужно было еще выстоять огромную, многодневную очередь... По приезде в Новосибирск все нужно было начинать сначала. Только там дело

<sup>160</sup> В Сибири жену именовали иногда по мужу; таким образом, Эмилия, жена Яна, и превратилась в «Яновну».

осложнялось тем, что поблизости не было ни одного латыша, у которого можно спросить совета. Познакомились с одним русским солдатом, ехавшим домой. Служивому так приглянулись голубые глаза и светлые волосы Лигиты, что он добыл для обеих девушек билеты, воспользовавшись привилегиями фронтовика. Эмилия слушала, улыбалась. Да, такой уж человечек ее Лигита, кто бы устоял перед ней! В Москве девушки остановились у дальней родственницы Алиды. Жила она скромно, но приняла двух латышек тепло и сердечно. Эмилии никогда ею не виденная Алида тут же сделалась близкой и милой. Она к тому же подарила Лигите и Олите шелковые чулки! Да, для моей дочки это первые в жизни шелковые чулки. Москва против той темной дыры, в какой они жили годами, показалась девушкам огромным, кипучим-могучим городом. Слезы брызнули из глаз Эмилии, когда Айна читала: в поезде на Ригу Лигита впервые опять услышала латышскую речь. С горечью добавлялось, что большинство все-таки говорили по-русски. Эмилия и Айна переглянулись со вздохом. В Зилупе, на первой латвийской станции, Лигита вышла, чтобы вдохнуть весенний воздух и ощутить под ногами родную землю. Эмилия так понимала ее. Ах, если бы еще хоть раз прикоснуться к латвийской земле! От сладких мечтаний ее оторвал голос Айны. Какой-то солдат накричал на Лигиту — почему самовольно оставила вагон, грозил милицией. Так вот какая она теперь, Латвия!

Поезд подъехал к рижскому вокзалу. Эмилия и Айна снова плачут. У каждой свои воспоминания

о Риге, о настоящей жизни. Дочь пишет о своей радости и смятении, когда после стольких лет она оказалась в Риге, на вокзале, откуда столько раз ездила к себе в Дубулты. Народу так много, что голова идет кругом. Куда теперь? Ни одной родной души ни в Риге, ни в Юрмале. В Лиепаяу к тете Анне ехать нельзя,

- 187 -

это запретная зона, туда пускают лишь по специальным разрешениям. Олита звала с собой в Мазсалацу, но тут вмешалась судьба — на станционной площади навстречу им шла госпожа Эмерсон. Та самая госпожа Эмерсон, с которой имеете они были высланы в Сибирь и которой разрешили вернуться незадолго до них. Рижанка позвала Лигиту к себе. Эмилия не сомневалась: теперь рядом с дочкой есть человек, на которого можно положиться и у которого можно спросить совета.

Самое тяжелое Лигита оставила напоследок. То была весть о смерти отца. В Томске от одного латыша, бывшего вместе с отцом в лагере, она узнала, что Янис Дрейфелд умер в конце 1941 года. Эмилия не могла в это поверить. Всякий раз, когда в комендатуре она спрашивала о судьбе мужа, ответ был один и тот же — Янис Каспарович Дрейфелд осужден на десять лет в лагере особо строгого режима без права переписки<sup>161</sup>. Значит, он жив! Эмилия не могла себе и представить, что согласно служебным инструкциям Гулага смерть старого человека может быть государственной тайной, не выдаваемой даже близким. Однако мысли снова и снова возвращались к письму Лигиты, и постепенно в душу закрадывалось сомнение. Эмилия сама так постарела, скрючилась, обессилела, каким же должен стать Янис? Он ведь на четырнадцать лет старше. Могло статься и так, что он не выдержал... Однажды ночью ей приснился вещий сон. Она опять в Дубулты, в своем доме. Сидит в спальне перед зеркалом, расчесывает волосы. В комнату стремительно входит муж. В глазах его лукавая искорка — явно что-то скрывает. Что это будет — подарок? В какой руке? — спрашивает Янис. Эмилия отвечает не без кокетства, но почему-то каждый раз ошибается. Янис спрашивает снова и снова. Эмилия начинает беспокоиться — отчего шутка в этот раз так затянулась? И вдруг она замечает, что после каждого неверного

<sup>161</sup> «Десять лет в лагере особо строгого режима без права переписки» - стандартное объяснение, даваемое близким в тех случаях, когда заключенный успевал умереть или над ним был исполнен смертный приговор. В КГБ считали, что сокрытие факта смерти оставляет возможность фабрикации новых дел, а также позволяет продолжать преследование сообщников осужденного, доказательством виновности которых могут послужить «свидетельства» покойного.

- 188 -

ответа Янис съеживается, уменьшается в росте. Ужас охватывает ее, Эмилия пытается его спасти, удержать, но поздно. Янис исчез. Остался только подарок. Вглядевшись, она узнает в нем чудесное голубое платье, муж когда-то попросил друга привезти ей такое из Парижа. Эмилия проснулась. Так значит, правда. Яниса больше нет.

Письма обычно шли три недели в одну сторону и три недели в другую, так что ответ на заданный дочкой или матерью вопрос мог быть получен только спустя шесть недель. Пока Эмилия горевала о том, что дочка попала в заколдованный круг, — работу нельзя найти без прописки, но никто тебя не пропишет, если ты не работаешь, — Лигите уже удалось устроиться

счетоводом в Тукумской пекарне и прописаться у одной женщины, согласившейся рискнуть и сдать кроватное место вчерашней ссыльной. Всю долгую дорогу из Сибири Лигита мечтала, что снова будет жить в Дубулты, но, оказалось, это ей запрещено. Большие города для бывших ссыльных тоже оставались закрыты. Пришлось ехать в Тукумс, где нашли прибежище многие из «сибиряков». Эмилия утешала — а может, все и к лучшему, в Дубулты жить было бы слишком тоскливо. Там каждая мелочь напоминала бы о прошлом.

Впервые в жизни Лигита получила зарплату. Эмилии поначалу дочкины 279 рублей в месяц казались громадной суммой<sup>162</sup>. Она жила в другом мире, где денежного обращения почти не было. Все привыкли к натуральному хозяйству и перебивались как могли. В Тогуре люди месяцами, а то и годами не получали зарплаты. Вместо нее каждому работающему выдавали 800 граммов хлеба, а каждому члену семьи, находящемуся на его иждивении, — 300 граммов<sup>163</sup>. Эмилия не состояла ни на чьем иждивении, ей надо было самой о себе заботиться. Как-нибудь заработать 20 рублей —

<sup>162</sup> Представление о покупательной способности тогдашнего рубля дают оптовые цены: масло, 1 кг — от 45 до 61 руб., филе трески, 1 кг — 13 руб., шерстяное платье — от 313 до 557 руб., мужские полуботинки — 313 руб. См. Информационный справочник спроса и предложения товаров. 1949 г. / Министерство торговли Союза ССР.

<sup>163</sup> Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. 17 июля 1949 года.

- 189 -

заплатить за снимаемый угол. Чтобы собрать два-три стакана ягод, нужно было бродить по лесу до обеда. стакан стоил рубль, но и за такую цену покупатели редко находились. Притом приходилось быть начеку — не привязалась бы милиция, не то засадят в тюрьму как спекулянтку. Сдав официально в приемном пункте три килограмма грибов, Эмилия получала полкило хлеба и 57 копеек в придачу. За пару рукавиц, вязанных из шерсти, причем нитки спрядены своими пальцами, можно было получить 10 рублей<sup>164</sup>. После уплаты денег за жилье на хлеб почти ничего не оставалось. Моя бабушка обходилась в основном картошкой и соленой рыбой.

Но вскоре Эмилия поняла, что зарплата Лигиты в условиях Латвии ничтожна, и снова ее гложет беспокойство — как доченька заплатит за жилье, купит дрова на зиму, а ведь еще надо и одеться! Хорошо, насчет питания проблем не было — работая в пекарне, Лигита могла наесться вволю, и сознание этого несказанно согревало Эмилию. «Милое дитя, — писала она, — если бы ты знала, как я радуюсь, что хлебушка у тебя вдоволь. У меня тут бывает и так, что хлебушка нет. Только картошка, ну, да и то хорошо»<sup>165</sup>. Лигите так горько было осознавать свое бессилие. Ничегошеньки она не могла сделать для своей мамы. Эмилии одной нужно было бедовать в Сибири, полагаться на чужую милость, тяжело работать. Лишь несколько жалких червонцев Лигите удавалось наскрести время от времени и послать маме. Хотелось бы сделать больше, много больше. Эмилия всякий раз, получив денежный перевод от Лигиты, вся сияла от гордости. Присланные рубли значили для нее гораздо больше, чем только возможность прикупить несколько буханок хлеба или немного сахара. То был акт любви, доказывавший, какая Лигита хорошая дочь. Эмилия знала это и сама, но для самоуважения ей требовалось, чтобы никто из окружающих не

<sup>164</sup> Килограмм черного хлеба стоил 14 руб., ведро картофеля — 10 рублей летом и 5 руб. после

нового урожая.

[165](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. Сентябрь 1949 года.

- 190 -

думал, будто она забыта и заброшена. И однако моя бабушка с болью сознавала, как трудно Лигите выкроить эти тридцать или пятьдесят рублей, и в очередном письме неизменно уговаривала дочь: больше денег посылать не надо, у нее и так всего хватает! Дочка не слушалась. Несколько раз даже собирала небольшие продуктовые посылки, не забывая вложить туда что-нибудь и для оставшихся в ссылке друзей. Она ничего не забыла и слишком хорошо знала, что значит выжить там, в Тогуре.

Постоянную связь с Лигитой Эмилии помогали поддерживать фотографии дочери, их долгое рассмотрение и обсуждение, лучше всего — вместе с друзьями, знакомыми. Как только выдавалась свободная минута, Эмилия подносила фотографии к окошку и приступала к их изучению. Зрение у нее совсем ослабело, иной раз Эмилия даже не замечала, что держит снимок вверх ногами, да это и не мешало ей увидеть все то, чего жаждало в этот миг ее сердце. Каждый раз в лице дочери, знакомом до каждой черточки, обнаруживались новые нюансы, отражавшие не столько момент, зафиксированный фотокамерой, сколько душевное состояние самой Эмилии или впечатление от последнего письма. Ранним утром и вечером, когда в темной хибаре невозможно было ничего разглядеть, моей бабушке достаточно было кинуть взгляд на полку, где хранились снимки, и она мысленно без малейших усилий восстанавливала облик дочери, выражение лица, одежду вплоть до мельчайших деталей. Когда на нее нападала тоска, Эмилия вспоминала прощальный снимок. Перед отъездом Лигиты они обе отправились в Колпашево, чтобы впервые за все сибирские годы вместе сфотографироваться. Горькое предчувствие разлуки ощутимо присутствовало на снимке. И с такой ясностью было видно все зло, весь урон, нанесенный ссылкой обеим. Эмилия иногда спрашивала себя — неужели эта старая,

- 191 -

загнанная женщина с изуродованным носом, безнадежно глядящая в пустоту, — и в самом деле она? И Лигита на снимке выглядела застывшей... Но чаще Эмилия обращалась мыслями к тем фотографиям, которые дочка прислала уже из Латвии. И не могла нарадоваться — дочурка была на них такой красивой! Как и положено выглядеть девушке из хорошей семьи. Присланные снимки обсуждались первым делом в кругу близких знакомых, и каждый норовил сказать о Лигите доброе слово, чтобы порадовать одинокую госпожу Дрейфелде. Эмилия не могла удержаться, чтобы не показать фотографии и местным. Пусть видят, как преобразилась недавняя золушка! Жители поселка в искреннем изумлении крутили головам и нахваливали: «Ну, прямо чистая горожанка!» — что в их системе ценностей символизировало легкую, счастливую и недостижимую жизнь.

Эмилия с любовью и благодарностью думала о своих братьях и сестре, принявших Лигиту так сердечно и при всей послевоенной бедности одаривших так щедро. В том числе шерстяной пряжей — и уж Лигита знала, что с нею делать. Эмилия помнила, как в те времена, когда они жили в Петропавловке, дочка при молчаливом согласии местного начальника основала артель вязальщиц. Внимательно изучив сложный узор одного старого свитера, Лигита поделилась своим знанием с подругами Айной, Марой и Олитой. Впятером за день можно было связать

новый свитер и получить за него три ведра картошки. Пальцы Эмилии стали слишком неповоротливыми, поэтому Лигита справлялась и за нее. Теперь, наконец, дочка сможет связать что-нибудь красивое для себя, притом из чистой шерсти, а не из распущенных старых носков или грубых ниток, надерганных из рыбацкой сети, как это было в Сибири. Лиепайская родня подарила несколько кусков ткани на платье и даже черное сукно на пальто; подбросили ей и денег, которыми Лигита

- 192 -

поспешила поделиться с мамой. Перед высылкой Эмилия отнесла к портнихе несколько отрезков, собиралась шить новые платья, но та не успела с ними ничего сделать. В военное лихолетье портнихе пришлось их продать. Теперь она считала делом чести рассчитаться по старым долгам и сшила Лигите два платья бесплатно. Таким-то образом Лигита без лишних трат обзавелась новой, элегантной одеждой. Любуясь дочкиной фотографией, Эмилия блаженно вздыхала: «Ты теперь считаешься богатой невестой. Все у тебя есть!»<sup>166</sup> Да, в том мире, где обитала Эмилия, пара новых платьев и пальто были огромным богатством. Восемь лет, проведенных в голоде и нищете, так врезались в сознание моей бабушки, что годы, когда она сама жила в достатке, казались чем-то далеким и нереальным. Как можно сравнивать старые валенки — пимы и штопанное-перештопанное ситцевое платье с тем, что когда-то разумелось само собою: нарядами, сшитыми весной или осенью к новому сезону, перчатками тонкой кожи, туфлями на высоких каблуках или еженедельными визитами к парикмахеру и маникюрше. Только на девятый год ссылки у бабушки появилась возможность снова проехаться на автобусе!

Об отчете доме Лигита ничего не писала. Эмилия помнила его таким, каким оставила ночью 14 июня, — светлый каменный дом с красивой застекленной верандой, с белыми занавесками. Часто она видела его во сне. Вся семья опять в сборе, только что отобедали. Эмилия и Янис присматривают за мальчиками, играющими тут же, во дворе, малышка Лигита учит собаку подавать лапу. Это был один из самых счастливых снов Эмилии, в нем не возникало даже тени сибирских будней. Наверное, теперь в доме поселились чужие люди, но Эмилия не могла себе этого представить. Иногда ей виделось, как Лигита стоит перед калиткой и не решается ее отворить. Она бы чувствовала себя точно так

[166](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. Август 1948 года.

- 193 -

же — невыносимо больно было бы войти в свой двор бесправной чужачкой. «Пожалуйста, напиши мне про наш дом. Как он выглядит? Тротуар еще цел? Кто живет в нашей квартире? Ты была в своей комнате?»<sup>167</sup>

Лигита отправилась в Дубулты через день после возвращения. Уже в юрмальском поезде она неотрывно смотрела на излучину Лиелупе, ждала, когда покажется угол ее дома. Вот он! Сердце забилось так же, как в детстве, — бывало, подъезжая и прижав нос к вагонному окну, она кричала отцу и матери: «Дом! Наш дом!» Лигита сошла на перрон. Долго стояла у стен своей гимназии — та расположена прямо напротив станции. Думала об одноклассниках, рассеянных по белу свету. Примерно третья часть бывших соучеников спаслись и оказались за границей. Как ее лучшая подруга Марианна. Та же судьба, что и Лигиту, постигла еще только Улдиса. Жив ли он? Она не знала. Так же как не ведала, что случилось с остальными.

Лигита шла вверх по улице Слокас. В висках стучало, в горле комок. Сейчас, сейчас он будет, ее дом. Точно карусель, крутились в голове картинки воспоминаний, выбранных по критериям, известным только ее подсознанию и запечатленных там, в глубине, с необычайной точностью. Лигита видела себя маленькой девочкой — с шашечной доской в руках она стоит у дверей отцовского кабинета и никак не решится войти, потому что знает: опять она будет в проигрыше. Цыпленок. Его тельце, безжизненное, еще теплое, лежит у нее на ладони — она задушила бедняжку в объятиях, убила своей любовью, и теперь потрясенная плачет. Воскресное утро. В столовой служанка добродушно ворчит: маленькая озорница опять чайной ложкой сняла пенки с дымящегося в чашке какао и съела! Отец и мать ушли в гости, а дочка в родительской спальне крутится перед зеркалом.

[167](#) Там же.

- 194 -

На ногах у малышки мамы тфли на высоких каблуках, губы густо намазаны помадой. Она чувствует себя истинной дамой, не догадываясь, до чего потешно выглядит. В магазине на ближайшем углу мама «открыла счет» для дочери. Каждый день она может взять там что-нибудь сладкое. Лигита с ужасом думает о накопившемся в магазине долге, но свою слабость к сладкому побороть не может. Однако мама, услышав о перерасходованных сантимах, только улыбнулась. Улыбкой отвечает она и на прочие шалости Лигиты. Да уж, избалованная родителями и своенравная была девчонка!

Лигита стояла перед садовой калиткой. Глаза быстро обежали двор. Он оказался замусоренным, сарайчики полуразвалились, забор некрашен, тротуар разбит. Из кухонного окна доносился пронзительный женский голос, жаловавшийся на что-то. По-русски. У Лигиты захватило дыхание. К этому удару она оказалась не готова. Так значит, их дом отдан чужакам! Тем, кто все у них отнял! Хорошо, что отец и мать этого не видят. Лигита резко повернулась на каблуках и кинулась прочь. Потом остановилась. Вернулась. Это дом Дрейфелдов, отец строил его для своей семьи, у нее есть право войти сюда. Лигита решительно постучалась в дверь. Никто не подходил. Помедлив, она нажала на дверную ручку. Дверь отворилась. Навстречу хлынула душная волна, в которой вонь туалета смешалась с испарениями несвежей еды и нафталина. Тошно. Раньше здесь пахло сушеными апельсиновыми корочками и мятой. Лигита открыла дверь кухни. Белый буфет с зелеными стеклами все еще на месте. У плиты хлопотала чужая женщина, она вопросительно уставилась на вошедшую. Лигита притворилась, что обозналась — ищет соседей. Не скажешь ведь, что ты дочь настоящих владельцев дома, решившая посмотреть, что с ним сделали чужие люди. Выбравшись наружу,

- 195 -

Лигита пошла к морю и долго бродила вдоль берега. О пережитом она решила не рассказывать маме; просто сообщила, как выглядит дом после их восьмилетнего отсутствия. Эмилия подозревала, что дочь ее щадит, и никогда больше не касалась в своих письмах болезненной темы. Лигита скрыла от матери и то, что их загородный дом «Упитес» во время войны сгорел.

Так вышло, что Ирине — дальней родственнице — исполком выделил жилую площадь в доме Дрейфелдов. Теперь у Лигиты был повод заходить сюда настолько часто, насколько она сама способна выдержать подобное переживание. Ирина жила на втором этаже, в бывшей комнате «мальчиков», как моя мама всегда называла и продолжает называть своих братьев. И всякий

раз, когда Лигита заходила туда, в ее воображении оживали шумы и музыка прошлого, ей начинало казаться, что она слышит въявь голоса братьев. Это граничило с самоистязанием, однако ноги сами снова и снова несли Лигиту туда, где она могла прикоснуться к своему детству. Там она хоть на миг ощущала себя ближе к своим.

Когда в 1957 году нашей семье разрешили вернуться в Латвию, я тоже побывала, и не раз, в доме деда, так как Ирена все еще там жила. Тогда я не понимала, что значит для моей мамы видеть, как беспардонно распоряжаются там новые жильцы, ничего не ведающие о жестокой судьбе предыдущих обитателей дома. Даже старый кухонный буфет коротал дни на прежнем месте. Он растерял свои цветные стекла, был перекрашен в ядовитый зеленый цвет. После каждого посещения этого дома моей маме требовалось несколько дней, чтобы отдышаться; отцу тяжело было смотреть на это, и он настаивал, чтобы мама больше туда не ходила. Однако через какое-то время пережитая боль затухала, и мама, взяв меня за руку, снова отправлялась к Ирене. Мне

- 196 -

в тесной комнате было скучно, я просилась во двор, поиграть с другими детьми, но мама ни за что не желала меня отпускать. Откуда мне было знать, как больно Лигите было видеть свою дочь в жалком дворе, где ничего уже не оставалось от мира ее детства! Мама часто повторяла моему отцу — у меня есть родной дом, а я не могу получить там даже комнату!<sup>168</sup> Это казалось особенно несправедливым: нам приходилось вчетвером жить в проходной комнате, где от любопытных взоров хозяйки позволяли укрыться только шкаф и занавеска. У нашей семьи не было никаких шансов получить жилье в порядке очереди, так как по советским стандартам площадь, приходившаяся на каждого жильца, соответствовала норме<sup>169</sup>. Мои родители не сдавались — они решили копить деньги на кооперативную квартиру. Первый взнос составлял астрономическую по тем временам сумму — 1760 рублей!<sup>170</sup> Остальные 4600 рублей нужно было уплатить в рассрочку в течение шестнадцати лет. Отец начал работать по совместительству в нескольких местах, и через девять лет после возвращения из Сибири, в январе 1966 года, наконец исполнилась заветная мечта моей мамы — она держала в руках ключ от собственной квартиры. Дом моего деда снесли в 1971 году. На его месте построили один из тех серых и безликих блочных домов, которые насаждались в советское время по всей Латвии.

Во всех письмах Эмилии нескончаемым рефреном звучит тоска по дочке — ее любимице, птенчике, дитятке, девчущечке, родной кровиночке. Нелегко было Лигите убеждаться, читая ее письма, как тяжело приходится работать маме, но еще хуже — понимать, до чего же она несчастна: «В мыслях я с тобой каждый день. Особенно по утрам, когда сижу на кухне и чищу картошку. Ты в это время еще спишь. И я тогда — с тобой, незаметно для тебя глажу твою курчавую головушку. Вот уже год прошел, как я тебя не вижу,

<sup>168</sup> В вопросе о собственности лиц, сосланных в 1941 году, советской власти колебались между двумя позициями: рассматривать ее как бесхозное имущество или как национализированную собственно

В марте 1949 года Президиум Верховного Совета ЛССР постановил, что «...собственность лиц, высланных в административном порядке за пределы Латвийской ССР за враждебную советской власти деятельность в 1940—1941 гг., подлежит национализации и зачисляется в фонд госимущества». См. Riekstiņš J. Aizvesto manta (Имущество увезенных) // Labrīt. — 1994. — 14.

jūnijā.

[169](#) Выделение жилплощади в Советской Латвии регулировалось в соответствии с Постановлением Совета Министров Латвийской ССР и республиканского Совета профсоюзов № 81 «О порядке распределения жилой площади в ЛССР». На территории каждого городского и районного Совета депутатов действовали свои нормы минимальной жилой площади на человека, позволявшие претендовать на улучшение жилищных условий или включение в очередь на жилье. В Риге минимальный размер жилой площади на человека составлял 4,5 кв. метра. См. Pusuņu dzīvokļu tiesības (Жилищные права граждан). — Rīga: Liesma, 1969. — 31. lpp.

[170](#) В 1964 году зарплата бухгалтера составляла 60 руб., инженера — 120 руб. в месяц. Цены на товары широкого потребления: ржаной хлеб — 40 коп./кг, говядина — 4 руб./кг, масло — 3,5 руб./кг, зимнее пальто — 150 руб., хорошие женские туфли — 40 руб., мужская рубашка 10 руб., хорошие мужские туфли — 30—80 руб. Данные из: Namson A. Lebens- bedingungen un Lebensstandard der Landbevölkerung in Sowjetland // Acta Baltica. Liber Annalis Institūti Baltici. — 1964. — vol. 4. — S. 65—91.

- 197 -

неслышутвоего голоса. И никого нет, кто назвал бы меня мамочкой. Теперь все зовут меня Эмилией Ивановной, а хозяйку мою — Ольгой Васильевной»<sup>171</sup>. В этом «Эмилия Ивановна» проглядывает такая горечь, такая безнадежность. Лигита вспомнила, как раздражали Эмилию все эти Ивановны, Петровны и Викторовны, которые местные, сибирские, незамедлили прилепить к латышским именам. Хорошо еще, Эмилия не знала, что теперь и в самой Латвии ее дочь величают Лигитой Ивановной. Отчего маме не разрешают ехать в Латвию? Сразу по возвращении Лигита подала в Министерство внутренних дел все документы, необходимые, чтобы вызвать маму к себе, но ответа все не было, и бессмысленные мучения разлуки продолжались. Каждое письмо приносило новую порцию воспоминаний, напоминало о тоске, так хорошо знакомой и самой Лигите: «Утро доброе, моя милая. Все еще спят, и ты спишь. На часах — только семь, а я поднялась в пять утра. Хочется к тебе. К тому времени, как я уйду, тебе тоже будет пора вставать. Как бы мне хотелось разбудить тебя, сказать: «Вставай, вставай, Лигиточка, завтрак уже готов!» Но Лигиточку не добудишься... Даже не верится, что так будет когда-нибудь»<sup>172</sup>. Ах, еще бы хоть раз услышать тихие мамыны шаги, ощутить ее нежное прикосновение!

Эмилия постоянно беспокоилась о Лигите; поводом для ее тревоги был инфантильный характер дочки, который и не мог развиваться как следует, ибо восемь проведенных в Сибири лет не были нормальными. То был жестокий удар, отрубивший напрочь опыт предыдущей жизни; вся прежняя система ценностей потеряла смысл, вся энергия личности понадобилась для простого физического выживания. Для развития, духовного созревания не оставалось почти никаких ресурсов. Травмирующий шок не пощадил никого, но особенно тяжело этот удар отозвался на детях и

[171](#) Письмо Эмили Дрейфелде дочери. Май 1949 года.

[172](#) Письмо Эмили Дрейфелде дочери. 21 июля 1949 года.

- 198 -

подростках — беззаботный, светлый мир детства вмиг был разрушен, вместо него повседневностью стали страдания, голод и смерть. Эта травма и есть величайшее зло, нанесенное депортацией детям и подросткам, зло, оставившее неизгладимые и калечащие следы в момент формирования личности. Этот шок, спрятанный глубоко в безднах подсознания, каждый несет с собою всю жизнь. Как бы кто ни старался от него избавиться, это невозможно. Эмилия понимала, что борьба за выживание, забравшая до этого все силы Лигиты, никак не подготовила ее к нормальной взрослой жизни. У дочери совершенно отсутствовал тот эмоциональный опыт, который в обычных условиях накапливает каждая девушка, понемногу осваивая неписанные законы общества и духовно подготавливаясь к годам женской зрелости. Сибирь лишила Лигиту всего этого, и она вернулась в Латвию в облике двадцатитрехлетней женщины, однако с мировосприятием подростка. Хотя она успела встретить первую любовь, но ведь и та вспыхнула при ненормальных обстоятельствах, и их непреодолимость помешала пережить первое чувство во всей полноте и богатстве.

Эмилия вполне понимала, как сильно Лигита нуждается в радости, ведь деточка так долго была лишена этого, но пугала отчаянность, с какою Лигита бросилась наверстывать украденные у нее годы. Она и не думала прислушиваться к маминым уговорам беречься, потеплей одеваться, давать себе хорошенько выспаться. Она вырвалась из тюрьмы на волю, опять жила в стране своей мечты — Латвии, и здесь с ней не могло случиться ничего дурного! Лигите казалось, что вокруг нее сплошь добрые и честные люди, что они относятся к ней так же искренне и сердечно, как она к ним. Она честно отсиживала скучный рабочий день в конторе, потому что такова была необходимость, но настоящая-то жизнь начиналась после работы и в воскресенье. В субботу

- 199 -

вечером и в выходной где-нибудь поблизости всегда устраивалась какая-нибудь вечеринка, танцы, на которые Лигита отправлялась вместе с подругами. Танцевала без устали, до самого утра. Так же, как в гимназические годы, кружила головы парням, даже договаривалась о свидании, но в последний момент посылала вместо себя подругу. Ничего предосудительного — но очень уж это все было по-детски, что и казалось Эмилии опасным. Из откровенных писем дочери становилось ясно, что прерванная ссылкой юность Лигиты началась почти с той же точки, где оборвалась когда-то, — словно и не было той черной дыры. С энтузиазмом пятнадцатилетней гимназистки она продолжала игривые шалости, не осознавая, что дразнит, смущает, обижает кого-то и может быть, выглядит в чьих-то глазах жестокосердой, недоброй. Перед ней теперь были не робкие гимназисты-одноклассники, а взрослые мужчины, видевшие в Лигите молодую, желанную женщину, не подозревая, что за ее внешностью скрывается зеленая девчонка. Казалось бы, пережитое в Сибири должно было изменить ее, сделать отличной от прочих и впечататься навеки, однако, глядя на смеющуюся, искрящуюся весельем Лигиту, забывалась зловещая тень, простертая над нею. Сама она никогда не говорила о Сибири. Лишь в одиночестве или читая мамины письма, она с ужасом вспоминала все — но вступало в права новое утро, мир опять сверкал всеми красками, и погоня за радостью продолжалась.

Эмилия никак не могла помочь своему ребенку в противостоянии соблазнам мира. Возможность быть рядом с дочерью и оградить своею рукой от опасностей была у нее отнята. Сестра Анна жила в Лиенае, единственным опытным человеком в окружении Лигиты была госпожа Эмерсон, ей-то девушка нередко и изливала душу. И все же никто, никто не мог

заменить мать, которой Лигите так не хватало.

- 200 -

Эмилия пыталась писать дочке о своих тревогах и опасениях, но в паре фраз всего не скажешь. Насколько она была озабочена ходом дел, доказывает то, что она набралась духу сказать несколько твердых слов, что было моей бабушке особенно трудно в силу ее мягкого, уступчивого характера. В арсенал ее воспитательных средств изначально не входили строгость, суровость, разносы. И однако она не удержалась от выговора: «Когда ты возьмешься за ум? Ты не умеешь совладать с собой и любишь водить других за нос. Разве тебе приятно было бы, если бы кто-то другой с тобой вот так же... Каждый был молод однажды и радовался. И я тоже (...) Милая, доченька, ты, небось, уже сердисься на меня. Как хочешь, но разве я зла тебе хочу. Это все от большой любви. Ты — единственная на свете, для кого бьется мое сердце»<sup>173</sup>.

Как гром среди ясного неба — известие, что Лигита обручена. Случилось то, чего Эмилия больше всего опасалась. Ее дочь, совершенно не созревшая для семейной жизни, решила выйти замуж. Несмотря на внешний блеск — множество подруг, танцевальные вечера, внимание мужчин, Лигита страдала от одиночества. Остро не хватало того всеобъемлющего чувства защищенности, которым даже в сибирских испытаниях так щедро одаривала ее мать. Лигита устала быть одна. Это было основной причиной, заставившей ее искать спасения в браке. Лигита не скрывала от мамы, что не уверена, любит ли своего жениха, но ей обрыдло что ни день возвращаться в нетопленную комнату, считать копейки, чтобы свести концы с концами, и не знать, что ждет ее завтра. Брак обещал надежное прибежище, в котором она нуждалась. Отвечая «да», она не отдавала себе отчета в том, что брак — не только совместные развлечения и поцелуи. Эмилия видела — со дня ее собственной свадьбы мир изменился; к тому же, она не хотела, чтобы дочь

[173](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. 17 февраля 1949 года.

- 201 -

пережила те же страхи и неведение, какие она сама испытала в начальные времена своего брака. Зная упрямый характер Лигиты, мать все же пыталась ее предостеречь. Вряд ли робкие намеки моей бабушки оказали нужное воздействие, но сомнительный брак и без того был обречен: очередной поворот судьбы перечеркнул все намерения и планы. Правда, ни мать, ни дочь не подозревали, что Министерство государственной безопасности уже готовится к новой волне репрессий, и что они прямо коснутся Лигиты.

Сердце Эмилии истосковалось по любви и теплу, она искала их у людей, знавших и привечавших ее дочку. Вопреки запрету комендатуры, она иногда отправлялась в Колпашево, помянуть сынишку Айны — Андриса. Глядя голову малыша, она представляла себе, что ласкает никогда не виденного ею внука, тоже Андриса. А всего лучше она чувствовала себя в компании самой близкой подружки Лигиты, Мары, жившей рядом, в Тогуре, и нередко навещавшей ее. Вместе они читали и перечитывали письма Лигиты, вспоминали пережитые радости и беды и мечтали о возвращении домой. Маре моя бабушка отдала часть любви, переполнявшей ее, и та приняла ее с благодарностью — ее мать умерла в первый год ссылки, и сердечность Эмилии помогала хоть сколько-то восполнить тяжкую потерю. То были моменты соприкосновения двух душ, согревавшие обеих и позволявшие Эмилии на минуту забыть свое одиночество и разлуку с дочерью. Но Маре пора было домой, и моя бабушка с болью убеждалась в том, сколь

иллюзорны все ее попытки справиться с тоской. Это было мучительно. Что бы она ни делала, куда бы ни шла, тоска эта была с нею. Иной раз она охватывала Эмилию, словно приступ сильной физической боли, — колени подгибались, сердце слабело. Сжав зубы, она стонала, но отчаяние, терзавшее плоть и душу, не отступало. Лишь слезы приносили недолгое облегчение. Опустошенная, апатичная,

- 202 -

она тогда возвращалась к своим тяжелым будням, а там боль накапливалась снова и снова приходилось плакать.

Тогурские латыши жалели госпожу Дрейфелде, старались при случае развеселить ее и утешить. Без их поддержки жизнь моей бабушки стала бы и вовсе невыносимой. Зная, что перед ней старый и беззащитный человек, хозяйка осенью отказала ей в кроватином месте и взяла себе в постояльцы человека помоложе и посильней. Это был неожиданный удар — найти новое место и прибежище на ночь в бедном поселке накануне зимы было почти невозможно. Так стояла моя бабушка дождливым темным вечером у груды своих пожитков и понимала, что деваться ей некуда. Местных не разжалобишь, а здешние латыши и сами-то живут на птичьих правах, снимают углы. Как им навязывать еще одну тягость? Не будь Лигиты, в тот вечер Эмилия так и осталась бы стоять под дождем. Может, пришел бы конец ее мукам и унижениям. Однако дочь была — там, далеко, в Латвии, и скоро она должна поехать к своей кровиночке. Эмилия справилась с отчаянием, постучалась в дверь друзей. Те предложили остановиться у них, напоили горячим чаем, приготовили постель. Эмилия была благодарна своим спасителям, но сознавала, что никогда не сможет расквитаться за крышу над головой, за съеденное и выпитое: единственным ее богатством были собранные осенью 18 ведер картошки, этого недостаточно для выживания. Она старалась отработать — готовила, стирала белье, носила воду, но со всем этим добрые люди справлялись и без нее. Так тяжело жить чужим милосердием, а что делать? Работы не находилось. Только ближе к весне Эмилию наняла служанкой местная учительница. Чтобы не потерять место, которое пришлось искать так долго, Эмилия работала не покладая рук с шести утра до одиннадцати вечера: доила корову, ножом скребла некрашенный пол, стирала на пять человек, присматривала за

- 203 -

двумя детьми, готовила еду, убирала дом и терпела тиранию хозяйской матери, за все это получая угол кухни для житья, 50 рублей в месяц, ношеную одежду раз в год и скромный стол — ежедневно.

Каждый день наступал и проходил так же, как предыдущий, и понемногу Эмилия уставала верить, что когда-нибудь будет вместе с дочкой в Латвии. В первое лето после отъезда Лигиты Эмилия подала в Колпашевскую комендатуру заявление, в котором просила для воссоединения семьи разрешить ей переехать и жить с дочерью, ее единственной кормилицей. Эмилия так никогда и не получила ответа на свою просьбу. Время шло, ее охватывала безнадежность и подавленность, они чувствуются и в ее письмах: «Я как будто здесь, а сердце с тобой, моя милая. Скоро будет год, как я тоскую по тебе все больше»<sup>174</sup>. Порой Эмилии уже казалось, что все — сестра, братья и даже дочка — ее забыли. Но тут приходило очередное письмо, и отблеск надежды снова появлялся, однако светлые промежутки становились все короче, и прежнее уныние возвращалось. Эмилия, бывало, даже поддавалась ревности — чем, например, госпожа

Эмерсон заслужила счастье выслушивать признания Лигиты о ее радостях и бедах, в то время как она безжалостно оторвана от своего ребенка? Перенеся тяжелую болезнь, она писала Лигите: «Ах, милое дитя, как худо, что нету любящей руки, а сама без сил. Мне ничего уже не было жаль в этом мире. Только тебя, что ты будешь плакать. Лежала больная, и бредила — все о тебе»<sup>175</sup>. Чтобы ободрить маму, Лигита обещала следующей весной приехать в гости, но Эмилия не соглашалась: «Этого я не хочу. Еще раз с тобой прощаться не хочется. Приедешь уж забирать меня насовсем»<sup>176</sup>.

Первые признаки того, что режим надзора за административно высланными лицами ужесточается, появились

[174](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. 20 марта 1949 года.

[175](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. 24 января 1949 года.

[176](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. 2 сентября 1949 года.

- 204 -

летом 1948 года. Из письма Эмилии узнаем: в комендатуре объявлено, что нельзя без разрешения бывать в ближнем городе Колпашево. Чтобы воспрепятствовать переселению крестьян в город, у местных жителей отобрали паспорта, выданные им после войны<sup>177</sup>. В марте следующего года ссыльным нужно было подписаться под бумагой, уведомлявшей, что за самовольное оставление указанного местожительства им грозит тюремное заключение сроком до двух лет<sup>178</sup>. Эмилия не посмела открытым текстом написать Лигите о волнениях, пережитых ею и другими ссыльными, когда в мае 1949 года в Сибири снова появились вагоны для скота с тысячами депортированных из Латвии. В письмах — только завуалированные намеки: «Из гостей многие помирают. Особенно дети и старики»<sup>179</sup> или: «Ходят слухи, что из тех, кто поехали в гости, многие остались на полпути. Особенно старые и малые — так и не добрались до места»<sup>180</sup>. Лигита сразу разгадала смысл этих слов, они тут же вызвали в памяти ее собственный путь в Сибирь, пережитые мучения, неведение о своей судьбе. Как ни странно, депортации 25 марта 1949 не испугали Лигиту, она не почувствовала в этих событиях угрозы для себя. У нее на руках был документ об освобождении. И потом, моя мама все еще была достаточно наивна и верила, что первая ссылка была жутким недоразумением, теперь же все прояснилось и ошибка не может повториться. Эмилия смотрела на дело иначе. Рассказы новых ссыльных во многом совпадали с тем, что пережила она сама. Точно так же, как семья Дрейфелдов, эти люди ночью были вытащены из домов, втиснуты в вагоны для скота; точно так же без всяких объяснений их неделями везли неизвестно куда. Значит, и ее милая доченька не была в безопасности, в любой момент ее могли схватить и выслать обратно. Эмилии не суждено было узнать, что среди высланных 25 марта — ее будущий зять, и живет он не в Латвии, как писала ей дочка, а уже здесь, на другом

[177](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. Июль 1949 года.

[178](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. 19 марта 1949 года.

[179](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. Май 1949 года.

[180](#) Письмо Эмилии Дрейфелде дочери. Июль 1949 года.

берегу Оби, в селении Сохта, в каких-нибудь ста километрах от Тогура — именно там определили место жительства для моей бабушки Милды и моего отца Айвара.

В сентябре Лигита написала, что у нее в пригородном поезде украли сумочку со всеми документами. Сердце Эмилии сжалось от страха: потеря паспорта влекла за собой тяжелые последствия; пребывание Лигиты в Латвии могло оказаться под угрозой. С этой поры Эмилию не оставляли дурные предчувствия. В декабре стало слышно, что по тюремному этапу обратно в Сибирь шлют многих из тех, кто, подобно Лигите, получили в свое время разрешение вернуться в Латвию. В январе Эмилия узнала, что в Колпашево возвращена Гортензия Страздиня; ее этап пришел в Томскую тюрьму уже после окончания навигации. Заключенных негде было разместить, а потому администрация тюрьмы решила гнать их к местам заключения или поселения пешком. В длинной колонне, под конвоем, в мороз и метель, Гортензия проковыляла сотни километров, отделяющих Колпашево от Томска. Эмилия смотрела на измученную Гортензию, слушала ее леденящий душу рассказ и думала об одном — что, если такое же случится и с Лигитой!?

Горькая весть дошла до Эмилии 15 января. Лигита просила больше ей не писать, так как она готовится переменить место жительства или даже приехать к матери. Свет померк для Эмилии. Это случилось! Ее дочь, ее ребенка, точно преступницу, гонят по этапу через сибирские снега — на новые муки! Наверняка без теплой одежды, без подходящей обуви. Как тут выдержать? Не замерзнуть? Отчаяние госпожи Дрейфелде было таким огромным, таким бездонным, что окружающие стали опасаться за ее рассудок. Каждому, кто пытался ее утешить, она отвечала точно в горячке: «Ей же нечего надеть, обуть нечего. Такой холод на дворе. Где, где моя

дочурка?»<sup>181</sup> Слова утешений по-настоящему и не достигали сознания Эмилии, перед ее глазами все время вставала жестокая картина — застывшее тело дочери в бескрайних снегах. Словно в беспамятстве она продолжала выполнять свою работу — драить полы, варить еду, ухаживать за скотиной. 4 февраля, субботним вечером, около десяти часов Эмилия взяла ведро и пошла в хлев. Там ее, лежащую без сознания, через несколько часов обнаружила хозяйка.

Моя бабушка Эмилия умирала одна. В душном хлеву, прислонив голову к телу тощей коровы. Рука медленно оторвалась от теплого вымени. Буренка удивленно повернула голову, замычала. И продолжала пережевывать небогатый корм. Остро, как ножом, ударило в сердце. Ноги подкосились, моя бабушка упала на скользкую унавоженную подстилку. Снаружи бесилась февральская вьюга. Эмилия ее не слышала. Ну вот, боль отпустила. В последний раз всей силой своего угасающего сознания она поспешала на помощь дочери. Во что бы то ни стало убедиться, что ее дитя не погонят босиком по сугробам, на морозе... Со скоростью света душа преодолела сотни километров, отделявшие Тогур от Томской тюрьмы. В беспокойстве дух Эмилии обыскивал каждый куст и пригорок, каждую тропинку и дорогу. Неуловимую тысячную долю секунды помедлил у каждой вереницы каторжников, заглянул в каждое загнанное, измученное лицо. Лигиты не было! Теперь Эмилия знала, что это испытание ее ребенка, ее дочку миновало. Облегченно, благодарно вздохнув, Илзе Эмилия Дрейфедде отдала Богу душу.

На другой день латыши Тогура хоронили мою бабушку. На ней было темное платье, специально пошитое по этому торжественному случаю. Позвали местного фотографа, который запечатлел

Эмилию — для Лигиты, на память о матери. Эмилия в гробу выглядела красивой. Свободной. На ближнее

[181](#) Письмо Ф. Дзене к А. Думпе. 29 апреля 1950 года.

- 207 -

кладбище, расположенное в полугора километрах от поселка, гроб везли на санях. Прощальная церемония была простой и сердечной — каждый сказал короткую речь, вместе спели несколько латышских песен. После похорон, как водится, помянули ушедшую за скромно накрытым столом.

Я помню могилу моей бабушки, потому что в детстве часто там бывала вместе с мамой. В последний раз навестили ее весной 1957 года. Снег уже стоял, и на невзрачном могильном холмике ветер раскачивал сухие былинки. Моя мама, упав на колени, рыдала, и мне было ее бесконечно жаль. То было наше прощание с бабушкой Эмилией — через несколько дней после этого наша семья наконец-то возвращалась домой. В Латвию.

### **ЧЛЕНЫ СЕМЬИ БАНДИТА**

В двадцатых числах марта 1949 года в Латвии поползли слухи: готовится что-то ужасное, что-то похожее на 14 июня 1941 года. Железнодорожники проговаривались: на товарных станциях опять «благоустраивают» и сцепляют в составы вагоны для скота. С момента ареста и суда над моим дедом Александром прошло три года, однако всякий раз, когда мать моего отца Милда слышала о пропавших людях, об арестах<sup>182</sup>, точно ледяная рука сжимала ей сердце. Пока что их оставляли в покое. После ареста мужа в квартире прошел обыск, Милду несколько раз вызывали на допрос, но затем никто из «органов» ими не интересовался. Знакомые, желая добра, советовали Милде развестись с мужем: так она могла бы уберечь детей, да и сама спастись от репрессий. Мать моей бабушки, Матильда, тоже уговаривала ее: развод доказал бы, что Милда не имеет ничего общего с бандитом и врагом советской власти. Однако поступить так Милда была неспособна. Да, Александр так часто и так незаслуженно обижал ее, что мысль о разводе возникала не раз, только в хаосе и трудностях военных лет было не до того. Теперь же, когда муж оказался в беде, Милда посчитала бы такое поведение предательством, даже сознавая, что рискует безопасностью — детей и собственной.

Разговоры о новых депортациях звучали все настойчивей, и Милда решила 25 марта отослать младшего сына Арниса к матери в Сигудду. Айвар работал, и ему ничего не было сказано. Если бы слухи не подтвердились, а он

[182](#) Кроме жертв депортации 25 марта 1949 года в период с 1945 по 1953 год в Латвии были репрессированы 76 000 человек. К ним следует добавить 91 034 узников фильтрационных лагерей. См. Zālītei. Okupācijas režīmu upuri Latvijā 1940.—1991. g. Referāts konferencē "Latviešu leģions Latvijas vēsturē padomju un vācu okupācijas kontekstā" (Жертвы оккупационных режимов в Латвии, 1940—1991 гг. Реферат, прочитанный на конференции «Латышский легион в истории Латвии в контексте советской и немецкой оккупации»). — 2000. gada 10. jūnijs, Rīga.

- 212 -

сорвался с места, за неявку на работу без уважительной причины сыну грозили бы крупные неприятности. Вплоть до тюремного заключения<sup>183</sup>. Как потом Милда жалела о своем

молчании! Лучше бы сын сто раз отсидел в тюрьме в Латвии, чем бессильно наблюдать, как его юность и здоровье громят в Сибири!

Той весной Айвар чувствовал себя прекрасно. Трудная зима кончилась, и мир в лучах весеннего солнца обрел для него еще не изведанную привлекательность. У него была девушка, с которой можно было вечером пойти в кино, юношеские мечты, планы на будущее переполняли его, а еще работа, а еще учеба. Айвар учился на четвертом курсе техникума и работал на ВЭФе. Начал зарабатывать, и впервые за долгие годы Милда позволила себе надеяться, что непрерывная нужда, в какой они жили, отступит. До этого зарплата медицинской сестры, которую приносила в дом моя бабушка, была в семье единственным источником дохода. Все уходило на еду, довольствоваться приходилось нередко гороховой похлебкой, в которой далеко не всегда плавали капельки жира. Первый раз в жизни мой отец смог хорошо одеться, и это поднимало самооценку. На черном рынке он выменял себе новые брюки, пошил две модные куртки с широкими плечами и застежками-молниями, приобрел туфли и пальто.

День 25 марта ничем не отличался от других будничных дней. Что-то такое шептали по углам, но толком никто ничего не знал. Открыто говорить на эти темы люди избегали. Слышанное краем уха мой отец никак не относил к себе. Они с мамой жили скромной, неприметной жизнью, в ней уж наверняка не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание властей и милиции. Таких, как они, тысячи. Всех разве сошлешь? Да и зачем? Тут Айвар ошибался: страшные события первого года оккупации в его детском

[183](#) Утвержденные Советом народных комиссаров СССР 18 января 1941 года «Образцовые правила внутреннего рабочего распорядка для рабочих и служащих государственных, кооперативных и общественных учреждений и предприятий» предусматривали уголовную ответственность за опоздание на работу. Лица, повинные в социально опасных деяниях или бездействии, направленных против установленного советской властью порядка, подлежали суду.

«... За опоздание на работу без уважительных причин рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятия и учреждений подлежат суду и по приговору народного суда наказываются исправительными работами по месту работы до шести месяцев, с вычетом из заработной платы 25 % (Постановление Президиума ВС СССР от 26 июня 1940 года, п. 5, ч. 2)... Главный признак опоздания на работу, подпадающий под квалификацию преступления, есть отсутствие причины, оправдывающей неявку на работу, опоздание или преждевременный уход с работы. См. Darba likumdosana PSRS darba likumdošana un KPFSR darba likumu kodeksa komentāri (Трудовое законодательство. Трудовое законодательство СССР и комментарии к трудовому кодексу РСФСР). — Rīga: LVU, 1950. — 78.—81.1pp.

- 213 -

уме не запечатлелись с такой силой, как война и ее катастрофическое окончание; увиденные глазами подростка налеты авиации, раненые, толпы отчаявшихся беженцев — вот это врезалось в его память навеки и затмило все предыдущее. Что было, то прошло — он, наконец, хотел жить! Под сталинским солнцем прошли пока еще немногие годы, и в то время ни у кого, и уж тем более у Айвара, не было ясного представления об истинных масштабах чекистского террора. Это неведение и молодость спасли моего отца от постоянной неуверенности и боязни, которые вошли в плоть и кровь поколения, пережившего шок Страшного года. Вечером 25

марта после работы Айвар пришел домой усталым, но беззаботным. Поужинали вдвоем с матерью, Айвар сел за учебники. Милда несколько успокоилась — в последнее время о массовых арестах ничего не было слышно. Мало ли что люди наболтают, успокаивала она себя. В дверь постучали...

«Это была пятница. Около девяти вечера в квартиру вошли двое в штатском, сказали, чтобы собирались, поедем с ними. Мы с матерью совершенно растерялись, не знали, что делать. Ни я, ни мать не могли нести ничего тяжелого, потому взяли только самое необходимое. Тогда один из этих людей сорвал со стены коврик, в него завернул постельное белье, еще кое-что. Сказал, мол, пригодится. О брате они не спрашивали... На лестнице стоял еще один, караулил, во дворе четвертый. На улице сели в легковые машины. Отвезли нас на угол улиц Сарканармияс (Красноармейской) и Валдемара, где теперь 49 школа... В зале было уже много народу. Бесперывно приводили все новых людей. Здесь нам объявили, что на основании решения правительства нас высылают как членов семьи буржуазного националиста. Ночью нас посадили в небольшой автобус и увезли в Ропажу. Часа в два или три ночи посадили в вагоны... Это был большой вагон для перевозки скота, там оборудовали

- 214 -

двухэтажные нары, на них набросали соломы. Посреди вагона — печка-чугунка. Была еще емкость для отправления естественных надобностей, потом перед ней повесили какое-то одеяло... Товарищей по несчастью было много. Почти все — крестьяне из района. Особенно из Адажи, Царникавы, Ропажу. Была, помню, семья с двумя маленькими детьми, один еще грудной. Слышал потом, что оба ребенка умерли»<sup>184</sup>. Такими сохранились эти дни в памяти моего отца.

В субботу эшелон из Ропажу перевели в Сигудду, где прицепили «собранные» там вагоны. Днем Милда и Айвар жадно вглядывались через вагонное оконце, надеясь увидеть Арниса. Позднее из письма моей прабабушки Матильды они узнали, что Арнис на станции действительно был, но напрасно вышагивал вдоль вереницы вагонов — своих он не увидел. В воскресенье к вечеру эшелон, влекомый двумя паровозами, двинулся. Сигулда была последней остановкой в Латвии. Айвар вспоминает: «У Цесиса поезд снизил скорость. Видели на перроне людей, вытирающих слезы. Ближе к границе кто-то затынул песню — прощай, Видземе! — но его не поддержали. Так, в темноте, изнывая от тоски, мы через Валку покидали Латвию»<sup>185</sup>.

Айвар, судя по его воспоминаниям, допускал, что их ссылка была результатом доноса одного из соседей, но стоит ознакомиться с принятыми Советом министров СССР<sup>186</sup> и Министерством государственной безопасности<sup>187</sup> совершенно секретными постановлениями, как становится ясно, что судьба Милды и ее сына Айвара была решена еще 13 ноября 1945 года, когда чекисты арестовали моего деда Александра, чтобы после пыток в застенках НКВД приговорить как бандита и буржуазного националиста к десяти годам лагерей особо строгого режима. Даже если бы Милда развелась с мужем, это ничего не изменило бы в ее статусе —

<sup>184</sup> Kalnietis A. Tumšie gadi: atmiņas par izsūtījumu. 1990. gada rudens. 2. lpp. Gimenes arhīvs (Темные годы: воспоминания о ссылке. Осень 1990 года. Семейный архив).

<sup>185</sup> Там же.

<sup>186</sup> В постановлении Совета министров СССР от 29 января 1949 года № 390—138 сказано, что

высылке из Латвии, Литвы и Эстонии подлежат следующие «категории» жителей: кулаки и их семьи; члены семей бандитов—нелегалов, так же, как члены семей расстрелянных или осужденных бандитов; бандиты, успевшие легализоваться, и члены их семей, продолжающие заниматься антисоветской деятельностью; члены семей бандитских пособников. См. Oкурācijas varu politika Latvijā. 1939.—1991. (Политика оккупационных властей в Латвии. 1939—1991). — Rīga: Nordik, 1999. — 260. lpp.

[187](#) Приказ министра государственной безопасности СССР от 28 февраля 1948 года № 0068 о совершенно секретной операции МГБ СССР по высылке жителей стран Балтии с кодовым названием «Прибой». См. Strods H. PSRS Valsts Drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija "Krasta banga" (1949. gada 25. februāris — 23. augusts) // Latvijas Vēsture. — 1998. — Nr. 2. — 39.—47. lpp.

- 215 -

и она, и ее дети навечно стали членами семьи бандита. И моя жизнь была помечена тем же клеймом еще в материнской утробе. Я появилась на свет внучкой «социально опасного элемента» Яниса Дрейфедца и «бандита» Александра Калниетиса, и по критериям сталинского времени ничто не могло вывести это позорное пятно из моей биографии. Распоряжение о высылке Милды, Айвара и Арниса дано 26 февраля, за месяц до их фактического задержания. Если бы Милда, ведомая материнским инстинктом, не отослала в деревню младшего сына, Арнис бы оказался вместе с ними в вагоне-телятнике. Колеса под ними отщелкивали сотни, тысячи километров, и сколько их оставалось до места назначения, известно было лишь чекистским начальникам. Постепенно перед моей бабушкой и отцом начинали вырисовываться истинные масштабы высылки. На остановках рядом с их эшелоном, на соседних путях почти каждый раз оказывались другие составы с заключенными. Через узенькое вагонное окошко они спрашивали — что за люди, кто и откуда. Им отвечали эстонцы и литовцы, латыши. Казалось, в странах Балтии вообще не осталось жителей — все высланы.

Депортация 1949 года готовилась намного тщательней, чем первая, в 1941 году. Тогда советским оккупационным властям и войскам не приходилось бояться «лесных братьев», которые после войны продолжили движение сопротивления в лесах Балтии и своими вооруженными акциями могли помешать вывозу людей. План совершенно секретной операции «Прибой» министр государственной безопасности СССР утвердил 28 февраля 1949 года. Этой широкомасштабной депортацией руководство СССР хотело запугать крестьян, настроенных против коллективизации, и принудить их вступать в колхозы, а также свести к минимуму число тех, кто поддерживал лесных братьев. При

- 216 -

подготовке «Прибоя» соблюдалась строжайшая секретность. Территория Латвии была поделена на оперативные секторы, в каждом из которых назначались свой ответственный и оперативная группа. 18 марта были проинструктированы руководители операции, на следующий день — начальники эшелонов<sup>188</sup>. Команду приступить к выполнению задачи бойцы и местные партийные активисты получили лишь за 6—10 часов до начала операции. Чтобы дезинформировать население, перемещения войск и спецсоединений выдавали за «весенние боевые учения». Координировали операцию с помощью 812 секретных радиостанций. У границ Латвии, Эстонии и Литвы стояли наготове 8422 тяжелых грузовика, которые 25 марта

отправились — каждый на одну из 118 станций, где поджидали свой живой груз 4437 вагонов для скота<sup>189</sup>. С 25 по 29 марта 1949 года из Латвии в 33 составах вывезены примерно 43 000 человек, или 2,28 % всего тогдашнего населения Латвии. Из них умерли в ссылке 4941 человек, или 12 % депортированных<sup>190</sup>. То был подлинный геноцид, осуществляемый Советским Союзом в Латвии, Эстонии и Литве. 69 071 человек, или 72,9 % высылаемых, были женщины и дети<sup>191</sup>.

Операция «Прибой» показывает, сколь многому научились Сталин и его эмиссары от великих док по части массового уничтожения людей — вожаков Третьего Рейха. Депортации марта 1949 года как в отношении детального планирования, так и в смысле секретности и точности исполнения не уступали изощренной системе, посредством которой нацисты депортировали жителей оккупированных стран, в особенности евреев, в лагеря смерти. Только в фазе «окончательного решения» советский подход отличался от нацистского. Наибольшей заботой рейха было повысить эффективность машины истребления настолько, чтобы в короткое время уничтожить максимальное количество людей, в то время

[188](#) Okupācijas varu politika Latvijā. 1939.—1991. — Rīga: Nordik, 1999. —260., 261. lpp.

[189](#) Всего в осуществлении операции «Прибой» в Латвии, Эстонии и Литве участвовали 76 212 человек; из них 28 404 партийных и комсомольских активиста, 18 387 истребителей (истребительные батальоны были особыми подразделениями, состоявшими из вооруженных активистов партии и комсомола, бывших фронтовиков и партизан, латышей, вернувшихся из восточных районов СССР), остальные — солдаты различных войсковых спецчастей. См. Strods H. PSRS Valsts Drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija "Krusta banga" (1949. gada 25. februāris — 23. augusts) // Latvijas Vēsture. — 1998. — Nr. 2. — 43. lpp.

[190](#) Zālīte I. Okupācijas režīmu upuri Latvijā 1940.—1991. g. Referāts konferencē "Lat viešu leģions Latvijas vēsturē padomju un vācu okupācijas kontekstā". 2000. g. 10. jūnijs, Rīga.

[191](#) В марте 1949 года из Эстонии депортированы 20 713, из Литвы 31 917 человек. См. Strods H. PSRS Valsts Drošības ministrijas pilnīgi slepenā Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas operācija "Krusta banga" (1949. gada 25. februāris — 23. augusts) // Latvijas Vēsture. — 1998. — Nr. 2. — 44. lpp.

- 217 -

как советские чекисты могли себе позволить экспериментировать, выясняя, как долго способен выжить в экстремальных условиях классовый враг. Притом такой эксперимент государству почти ничего не стоил. Даже и напротив — он приносил прибыль, ибо, покуда «контингент» был жив, ему приходилось работать. Да, география — великое дело! Одним в перенаселенной Европе она мешала действовать с настоящим размахом, другим обеспечивала возможность скрытно и без всяких помех развернуться на немеряных просторах Сибири. Оставался, правда, риск — часть спецпоселенцев умудрялась выжить, несмотря на нечеловеческие условия, «великодушно» предоставленные им советской властью. Поэтому ссылать следовало навечно.

Исполнители операции «Прибой» «за проявленные мужество и героизм» получили высокие правительственные награды СССР. Горше всего сознавать, что в осуществлении массовой мартовской депортации участвовали почти 30 тысяч жителей Латвии: руководители районных и городских штабов по вывозу, их заместители, дежурные, сборщики оперативной информации, шоферы и др.<sup>192</sup>

Как моя мать Лигита, бабушка Эмилия и их жизни были лишь придатком к делу социально опасного элемента Яниса Дрейфелда, так и Айвар и Милда в документах служб безопасности сами по себе не значились. Следственное дело № 8485<sup>193</sup> было заведено на семью пособника бандитов Калниетиса Александра Яновича, а не на Айвара Калниетиса или Милду Калниете. Не нужно бы мне вздрагивать от такого игнорирования человека и его идентичности, ведь оно логически вытекает из советского классового подхода, однако меня всякий раз злит, что десятки тысяч достойных людей классифицировались по каким-то общим канонам классовой борьбы, а не индивидуально, в то время как

[192](#) Strods H. Latvijas cilvēku izvedēji 1949. gada 25. martā (Депортаторы, вывозившие людей Латвии 25 марта 1949 года) // Latvijas Vēsture.—1999. — Nr. 1.— 72. lpp.

[193](#) LVA, 1894. f., 1. apr., 463. L, 39. lp. — Bandītu atbalstītāja A. Kalnieša ģimenes uzskaites lieta (Учетное дело семьи пособника бандитов А. Калниетиса) un 1986. f., 1. apr., 17179. 1., 1.—9. sēj. A. Kalnieša u.c. personu krimināllieta (Уголовное дело А. Калниетиса и др. лиц).

- 218 -

любой уголовник сохранял право на имя, фамилию, на личное, только к нему относящееся дело. Даже в документе об освобождении Айвара и Милды нет ни слова о том, что мой отец и бабушка потерпели безвинно. Рекомендацию отменить ссылку прокурор ЛССР Юрис Спрогис мотивировал смертью Александра Калниетиса, которая является достаточным поводом считать, что «нет оснований держать его близких в ссылке»<sup>194</sup>. Здесь так отчетливо проявились лицемерие советских властей и их настоящие приоритеты.

Дело о высылке семьи Калниетиса начато 25 марта. В нем 39 страниц, в том числе подписанное в конце февраля распоряжение о задержании Милды, Айвара и Арниса, сведения о судимости Александра и справка военкомата о том, что «в семье А. Калниетиса нет служащих или ранее служивших в Советской Армии, награжденных орденами, медалями или участников партизанского движения»<sup>195</sup>. Удивляет, что неверно указано местожительство семьи Калниетисов. То ли служащий исполкома, составивший список адресов, пытался сознательно запутать преследователей, то ли здесь недоразумение, чья-то оплошность, нерадивость? Когда милиция обнаружила ошибку, глава 205 домоуправления Пориелис в страхе поспешил написать новую бумагу, из которой следует, что у семьи Калниетисов целых пять местожительств, но настоящий адрес и здесь не упомянут<sup>196</sup>. Выходит, вечером 25 марта опергруппа стучалась по меньшей мере в пять дверей, до смерти пугая обитателей каждой новой квартиры. К сожалению, из материалов дела неясно, как чекистам удалось найти правильный адрес — улица Менесс, 18.

Вторая неправильность связана с определением местожительства ссыльных. По сопроводительным данным «контингента» видно, что начальнику конвоя следовало

[194](#) Там же, с. 32.

[195](#) Там же, с. 9.

[196](#) Там же, с. 7.

- 219 -

доставить Милду и Айвара на станцию Белая Амурской области, однако же мой отец и бабушка были «погружены» в другой эшелон и 20 апреля привезены в Томскую область, где тотчас же приняты на учет местной комендатурой. Никто не обратил внимания на столь малозначущую ошибку, документы продолжали утверждать, что они находятся в Амурской области, как это доказывает приговор Особого совещания КГБ СССР от 16 июня 1949 года<sup>197</sup>. По-видимому, путаница открылась намного позже, когда это уже не имело значения. Амурская или Томская область — не все ли равно, главное, что оба были «перемещены в отдаленные районы СССР».

В заключении Министерства государственной безопасности о высылке упомянут и третий член семьи, Арнис Калниетис. По завершении операции пишется рапорт о его незадержании с просьбой дать указание об изменении учетного дела. Отвечая на это «совершенно секретное» сообщение, министр государственной безопасности ЛССР А. Новик утвердил новое заключение о ссылке, в котором указывались уже только два лица — Милда и Айвар. Возможно, так же действовали и в других случаях, когда сразу не удавалось задержать назначенного к высылке. Операцию следовало начать и окончить вовремя. Каждая недоработка, досадная мелочь бросала тень на операцию «Прибой» и ее блистательное проведение, уменьшая виды исполнителей на правительственные награды, поэтому чекисты не были заинтересованы в дальнейших поисках лиц, по той или иной причине избегших высылки. В углу переписанного документа нацарапано: имеется указание прокурора СССР — не сообщать о настоящих причинах смерти. Значит ли это, что отныне Арнис Калниетис для вящего удобства внутреннего делопроизводства ГУЛАГа считался умершим? Может быть, поэтому, в отличие от тех детей, которые в 1946 году

[197](#) Там же, с. 17.

- 220 -

вернулись из ссылки в Латвию и которых снова начали хватать в 1950 году, чтобы во имя «воссоединения семьи» повторно отправить в Сибирь, Арниса все-таки оставили в покое?

В одном только деле семьи Калниетиса обнаруживаются три значительные ошибки. Наверняка предостаточно их и в других делах, что показывает, как мало рыцарей воинствующей правды пролетариата интересовало исполнение задачи по существу. Как все запуганные винтики сталинского режима, они беспокоились лишь о себе. Чтобы их не обвинили в преступном бездействии и не превратили из судей в подсудимых, нужно было буквально выполнять распоряжения свыше. Нельзя выслать меньше людей, чем указано, лучше перестараться и перевыполнить план, а вместо ненайденных лиц взять других, хотя бы и не числящихся в списках. Зачастую списки «кулаков» фальсифицировались, в них вносили имена «бедняков», лишь бы число задержанных отвечало намеченному. Чекисты нарушали также и правило не высылать бывших фронтовиков, служащих или ранее служивших в Советской Армии, лиц, награжденных орденами и медалями СССР, красных партизан и членов их семей<sup>198</sup>. Точно так же их не интересовали ни возраст ссыльных, ни состояние их здоровья. Дряхлых стариков доставляли к машине на носилках, о грудных младенцах и малышах пусть заботятся родители. Сосланные по ошибке или в результате чрезмерной старательности опергрупп пытались доказывать, что не принадлежат к «контингенту». На это уходили целые годы, ибо, как оно всегда бывает с чиновниками, признавать свои ошибки они не спешили и делали все, дабы утопить в бюрократических омутх «пересмотр вопроса». Поэтому особенно поразительно то, что в пятидесятые годы все-таки были случаи, когда «неправильно» сосланным разрешали

вернуться и даже возвращали конфискованное имущество<sup>199</sup>. Некоторым ссыльным удавалось

[198](#) Riekstiņš J. Genocīds: 1949. gada 25. marta deportācijas akcija Latvijā (Геноцид: депортация 25 марта 1949 года в Латвии) // Latvijas Vēsture. — 1991. — Nr. 3. — 27. lpp.

[199](#) Точных данных о числе пересмотренных дел и лицах, которым раз решено было вернуться, нет.

- 221 -

побывать в Латвии нелегально, достав всеми правдами и неправдами справку от поселкового или сельского совета, заменявшую отобранный паспорт. Дабы предотвратить подобные «безобразия», Совет министров Л ССР принял постановление, грозившее тем, кто «выдает всякого рода справки лицам, высланным с территории Латвийской ССР на основании решения Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года», уголовной ответственностью как «пособникам в бегстве». На оригинале этого постановления рукою председателя Совета министров ЛССР Вилиса Лациса написано по-русски: «Это устно (подчеркнуто им самим) надо разъяснять председателям исполкомов, чтобы те сообщили сельсоветам»<sup>200</sup>

Когда читаешь воспоминания ссыльных, путь в Сибирь представляется сошествием в ад, причем человек постепенно привыкал к мысли, что сегодняшние беды меньше, чем ожидаемые завтра. Эта безнадежность и сознание обреченности уже в пути, под монотонный стук колес, захватывали малу-помалу и тело, и дух. «Все пропало, жизнь кончена»<sup>201</sup>, — думал мой отец, которому тогда было семнадцать лет, видя, как поезд уносит его все дальше в глубь чужих пространств — в бескрайнюю, бедную, неухоженную Россию. В вагоне было всего несколько городских семей, вынужденных довольствоваться, так же как и Милда и Айвар, лишь казенным пайком — 500 граммами хлеба, кипятком да изредка миской жидкой похлебки. Большую часть населения вагона составляли сельчане, у которых с собой по крайней мере была домашняя еда<sup>202</sup>. Некоторые, стесняясь товарищей по несчастью, норовили поесть украдкой, отвернувшись от соседей. Но запах деревенского хлеба и копченого сала разносился в воздухе, вытесняя вонь «туалета» и испарения давно невымытых тел. Для Милды и Айвара это было мукой: дразнящий запах сначала, как легкое веяние, касался лица, чтобы

[200](#) Запись о секретном распоряжении Совета министров Латвийской ССР от 16 декабря 1949 года имеется в журнале регистрации распоряжений СМ ЛССР (LVA 270. f., 10. apr., 12.1.) однако сам документ в фонде распоряжений СМ ЛССР (LVA 270. f., 2. apr., 980.1.) отсутствует. В личном архиве Сандры Калниете есть его факсимильная копия.

[201](#) Kalnietis A. Tumšie gadi: atmiņas par izsūtījumu. 1990. gada rudens. 5. lpp. Ģimenes arhīvs.

[202](#) Согласно приказу министра внутренних дел СССР С. Круглова от 12 марта 1949 года "О высылке кулаков и их семей, семей бандитов и националистов": «Высылаемым разрешается брать с собой принадлежащие им лично ценные вещи, предметы домашнего обихода (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и резерв продовольствия на каждую семью общим весом до 1500 килограммов». Краткий срок проведения операции «Прибой» и шок, вызванный неожиданным задержанием, лишил эту норму какого—либо смысла. Да и «благоустройство» вагонов, в которые набивалось по 50—60 человек, не позволяло перевезти такое количество багажа. Взять с собой удавалось лишь самое необходимое. См. Okupācijas varu politika Latvijā. 1939. — 1991. — Rīga: Nordik, 1999. — 279. lpp.;

- 222 -

через миг очутиться во рту и обернуться всеохватывающим, неудержимым желанием — есть! Хотя в военные и послевоенные годы в семье не так уж часто получалось наесться досыта, но такого острого голода отец до тех пор не знал. С каждым новым днем голод набирал силу. Сперва Айвар пытался обмануть желудок, медленно, по крупице размалывая кусок хлеба, но такое самоограничение оказывалось выше его сил, и в мгновение ока дневная порция исчезала во рту, как будто ее и не было. Милда неизменно добавляла сыну горбушку от своего куска, уверяя, что она «сыта с курева».

Моя бабушка часто стояла у открытых дверей вагона, глядя вдаль и выкуривая одну самокрутку за другой. Дым ел глаза, горечь растекалась во рту, но едкий вкус на мгновение усыплял голодного червячка, грызущего тело изнутри. Однако даже голод казался пустяком в сравнении с отчаянием, терзавшим душу. Милда считала, что жизнь ее обманула. Она не понимала, почему ее судьба оказалась столь жестокой. Снова и снова перебирая в памяти всю свою жизнь, она под впечатлением мрачных событий последнего времени обнаруживала в ней лишь темные страницы. Своего первенца Айвара она когда-то встретила словами: «Скажите, мальчик нормальный?» Двадцатитрехлетняя Милда так горько рыдала после безвременной смерти первого мужа, что опасалась — а вдруг эти слезы повредили младенцу или даже искалечили его? Второй муж, Александр изводил ее припадками ревности, а потом оставил одну посреди войны с ее хаосом и нуждой. Никогда не знала она крепкого мужского плеча, на которое можно опереться. Отец? Но он давно уже лежал на погосте. Всегда приходилось бороться в одиночку. За какие только работы она не бралась, что только не делала ради того, чтобы выжить! И чем все кончилось? Сибирью! Навеки. И жизнь обоих, ее и Айвара, кончена тоже навеки. Душу жгло и неведение о судьбе младшего сына, Арниса. А

- 223 -

что если его уже схватили, и мальчик едет в каком-нибудь другом эшелоне? Тогда уж лучше бы в тот раз забрали всех троих заодно, чем ребенку одному терпеть страшный путь в Сибирь. А еще терзала мысль о матери, Матильде, оставшейся теперь без поддержки. На что она будет жить?

Общую подавленность хоть сколько-то смягчали живописные виды природы, мелькавшие за вагонным оконцем. Мой отец очень хотел видеть Волгу — самую длинную реку Европы, но поезд миновал ее ночью. К Уралу, правда, подъехали днем, и Айвар с изумлением взирал на заснеженные горные вершины. Большинство ссыльных видели горы впервые, и они на людей, выросших на латвийской равнине, произвели неизгладимое впечатление. Уральские горы остались за спиной, и начались бесконечные сибирские леса, обширные равнины, на которых не видно было строений, на сотни километров не попадалось ни одной живой души. Это пугало — слышанные о депортациях 1941 года, люди догадывались, куда их везут и что ждет их в конце. Вглядываясь в непроходимые чащобы, Айвар остро ощущал, сколь ничтожны человеческие силы в сравнении с могуществом природы. Где-то в таких же лесах им, наверно, придется вековать. Как люди живут в такой оторванности от мира? Может быть, поэтому так ярко запечатлелся в памяти отца момент, когда после многодневного пути он первый раз увидел строения и людей: «Однажды ранним утром мы прибыли в какой-то город. Судя по

столбам дыма, это был крупный промышленный центр. Я поразился, увидев целую ватагу юных девушек в серых фуфайках и алых косынках. Они шагали на работу с песней! Значит, и здесь была жива душа человека, была радость песни!»<sup>203</sup> Эта картина ободрила, и Айвар повеселел. Какая малость может поддержать человека в самом отчаянном положении!

<sup>203</sup> Kalnietis A. Tumšiegadi: atmiņasparizsūtījumū. 1990. gadarudens. 5. lpp. Ģimenesarhīvs.

- 224 -

Около 20 апреля эшелон № 97329 прибыл в Томск. Военный конвой передал «транспорт» местной охране. Для временного размещения вновь прибывших спешно освободили пересыльный лагерь уголовников, очень напоминавший черно-белые документальные фильмы о нацистских концлагерях, которые моему отцу приходилось видеть в Риге. Никогда он не думал, что за ним закроются ворота подобного лагеря. Территория, огороженная высоким забором и колючей проволокой, разделялась надвое; здесь стояли пять или шесть больших барачков. В них поселили ссыльных из двух эшелонов — около 6000 человек<sup>204</sup>. Барачки представляли собой классический образчик архитектуры Гулага — двухэтажные нары, узкий проход, параша, чугунная печка в центре. Милде и Айвару повезло — у каждого из них было свое место, в то время как некоторые соседи по барачку спали попеременно. В узком проходе места для вещей не было, их пришлось оставить под открытым небом. Чтобы скудное имущество не разворовали, ссыльные по очереди его охраняли. У Милды и Айвара вещей было так немного, что они спали прямо на них. В первую же ночь проклятие лагерей — вши и клопы были тут как тут. На всю огромную массу людей была одна баня; вода холодная, но радовались и этой возможности смыть с себя грязь, накопившуюся за дорогу. Баню использовали и как временный морг, складывая там трупы умерших. В таких условиях людям со всех концов Латвии приходилось ждать, когда сойдет лед на Оби и их на пароходе повезут дальше, к местам постоянного жительства.

В лагере у Милды отняли латвийский паспорт. Айвар был еще несовершеннолетним, паспорта ему и не полагалось. Отныне и до 1957 года их единственным документом стало регистрационное удостоверение, в котором дважды в месяц отмечалось, что ссыльный не оставил самовольно место

<sup>204</sup> В одном эшелоне было от 55 до 60 вагонов, в каждом вагоне — до 60 человек. См. Indrikavs Z. Sāpju ceļš uz Austrumiem (Горький путь на Восток) // Kaujas Postenī. — 1990. — 26. aprīlī. В лагере были размещены люди главным образом из Слоки, Кемери, Бабите, Салас Циема, Таурупе, Сунтажи, Меньгеле, Кейпене, Кастрани, Юрмалы (6 вагонов) и Риги.

- 225 -

поселения. Комендант пересыльного лагеря уведомил их, что оба как члены семьи бандита сосланы пожизненно, после чего им нужно было подписаться под текстом, отпечатанным типографским способом: «Мне, ссыльному (ссыльной) имярек, сообщено, что я по распоряжению высших органов власти СССР сослан (сослана) на вечные времена без права возвращения на предыдущее место жительства. Мне также сообщено, что у меня нет права без разрешения местных органов Министерства внутренних дел выезжать отсюда, хотя бы на время менять место жительства и работы. Мне также известно, что в случае нарушения этой подписки меня согласно Указу Президиума ВС СССР от 26 ноября 1948 года призовут к ответственности и приговорят к 20 годам каторжных работ. С Указом от 26 ноября 1948 года я ознакомлен (-а)»<sup>205</sup>.

Такую же бумагу подписали и их товарищи по несчастью. Ставя свою подпись, Милда ощущала, что за ней навсегда захлопываются тяжелые двери. Айвар положил руку на плечо матери и пытался проглотить комок, стоявший в горле. Никогда больше им не видеть Ригу, брата, бабушку.

Дни в лагере тянулись медленно, монотонно. Молодые кое-как коротали время, выдумывали развлечения, скрывая тоску за наигранным весельем. Время от времени некоторым выпадала работа вне лагеря — все какое-то разнообразие. Как-то раз Айвар вызвался на работу по своей воле. Хотелось взглянуть на город, посмотреть, как там люди живут. Он не мог и вообразить, что задуманная вылазка станет одним из мрачайших впечатлений новой жизни: ему пришлось увозить из лагеря первых умерших. В своих воспоминаниях отец писал: «Это были дети, лет десяти, двенадцати. Родные зашили их в белые простыни, так как гробов не было. Мы забирали их из предбанника, где крысы уже успели полакомиться телами и лицами. Одного ребенка принес человек из какого-то барака, перебросив его через плечо, как

[205](#) Riekstiņš J. Lauksaimniecības kolektīvizācija un "kulaku" deportācija Latvijā. 1949. gads // Latvijas ZA Vēstis. A daļa. — 2000. — Nr. 1/2. — 59.—69. lpp.

- 226 -

мешок. Труп еще не успел остыть. Еще погрузили в машину тяжелого мужчину лет пятидесяти, совсем ничем не прикрытого. Так в открытом кузове мы поехали сдавать мертвых в анатомикум Томского университета. Тяжкая была поездка. Не знали, куда глаза девать, как держаться. Охранник — у него была винтовка со штыком — тоже чувствовал себя неважно. Оставили покойников в университете. Получатели спросили, что им делать с одеждой. Мы отвечали — пусть остается при них. Потом, когда моя обувь совсем прохудилась, я вспомнил, что у того взрослого мертвеца были крепкие сапоги. Но хорошо, что не взял ничего. Носил бы такой грех точно камень в груди»<sup>206</sup>. Айвару рано довелось столкнуться со смертью. Он видел рвы, в которых были закопаны расстрелянные евреи, видел павших в бою солдат, ближе к концу войны — убитых во время воздушного налета рижан. Но никогда еще смерть не казалась ему такой безбожно несправедливой, как в этот раз, когда он вез в открытом грузовике первые жертвы ссылки.

1 мая началась подвижка льдов на Оби. Сначала был такой шум, точно черепицу прибивали к дереву, только много, много громче. Постепенно скрежет и гром нарастали, и вот лед треснул. На еще нетронутое поле льда со страшной силой напирала ледяные глыбы, громоздясь одна на другую и наполняя округу грозным рокотом и гулом. Грохот становился все сильнее, и, наконец, в одно мгновение затор был прорван; река, издавая могучий рев, вырвалась и понеслась вперед с неодолимой силой. В ту весну Милда и Айвар не видели этой грозной и грандиозной картины — высоченный забор отделял их от внешнего мира. Но позднее, живя на берегу Оби, мой отец пять весен подряд пережил мистерию ледохода, с тоской и надеждой думая, что, может быть, следующий год принесет весть о свободе и он наконец-то с первым пароходом отправится к родным местам. На шестую

[206](#) Kalnietis A. Tumšie gadi: atmiņas par izsūtījumu. 1990. gada rudens. 5. lpp. Ģimenes arhīvs.

- 227 -

весну надежда сбылась. Мои родители получили документ об освобождении и в нетерпении

ждали, когда пройдет лед по Оби, когда к пристани причалит тот пароход, что повезет нашу семью в сторону дома.

После ледохода лагерь постепенно начал пустеть. Ссылных под конвоем большими группами вели на баржи. Огромную плоскую посудину вниз по реке тащил маленький буксир, древний движок тархтел из последних сил. Время от времени баржа вставала на якорь, очередную группу шлюпками перевозили на берег, откуда они направлялись к конечному месту назначения. Вода, вода кругом, берега, затопленные половодьем, — лишь изредка проплывет мимо поросший лесом холм или стоящая на высоком месте деревушка. Опустошение, бедность, какую за весь долгий путь еще не приходилось встречать. На барже оказалась давняя знакомая, в лучшие свои дни — радушная хозяйка дома «Озоли» из Царникавы. Ее взяли вместе с двумя маленькими дочерьми. На шестой день плавания Милде и Айвару пришлось пересесть на меньшую баржу, продолжавшую путь по притоке Оби Каршану; выгрузили их на пристани «Тридцатый километр» — дальше река была уже несудоходной. Здесь ссылных ожидали председатели колхозов с подводами. Отец писал: «Все происходило точь-в-точь, как в Юрьев день. Каждый председатель старался заполучить лучших работников — тех, кто помоложе, у кого побольше вещей. (...) Нас распределили в самое дальнее селенье Сохта, оно же было, как мы потом убедились, и самым бедным»<sup>207</sup>. После ныматывающего пути раненый во время войны, хромой юноша и хрупкая, похожая на подростка женщина отнюдь не выглядели многообещающей рабочей силой. Когда остальные председатели уже отобрали работников для себя, на долю Милды и Айвара остался лишь самый отсталый и отдаленный колхоз. До него от «Тридцатого» нужно было пройти

[207](#) Там же.

- 228 -

еще тридцать километров. Вещи везли на подводе. Милде тоже разрешили присесть на телегу.

Сохту основали «кулаки», сосланные по сталинскому приказу из Приуралья и с Алтая еще в тридцатые годы. Конвоиры оставили их в болотистой, необжитой тайге, на пустом месте, без запаса продовольствия. В жестокой борьбе с природой почти все старики и дети умерли. Выжили сильнейшие. Теперь у них по крайней мере была крыша над головой, своя картошка, своя корова или свинья — государство требовало податей маслом и мясом. Зерновые тоже сеяли, но колхозникам от них никакого толку не было — скудный урожай целиком уходил государству. Питались картошкой, гороховыми лепешками, обезжиренным творогом; хорошо если удавалось подстрелить зверя или птицу в лесу, наловить на уху рыбешки. Когда Айвар ближе познакомился с жизнью в этом Богом и людьми забытом углу, он не мог надивиться терпению местного народа. Люди так свыклись со своей серой, бедной повседневностью и так мало знали о внешнем мире, что понемногу поверили — жизнь их не так уж плоха. Они уже не считались классовыми врагами, так как ближе к концу войны, когда Сталину на фронте не хватало живой силы, стали призывать мужчин из «кулацких» поселений в Сибири. Правда, хотя это и освобождало призванных в армию, а также погибших и их семьи от клейма «классового врага», но не давало права на выезд. Они были колхозниками, привязанными, согласно советским законам, к земле, точно крепостные в царское время<sup>208</sup>. Молодые пали на войне, старые перемерли. Самые предприимчивые все-таки сумели перебраться в город или просто не вернулись с военной службы. В Сохте и окрестных деревнях, в основном, оставались старики и женщины, за свою тяжелую работу не получавшие почти ничего. В 1949 году колхознику в Сохте

выдавали 300 граммов хлеба на трудодень!<sup>209</sup> Хотя близкие многих колхозников

<sup>208</sup> Постановление ЦИК (Центрального исполкома) и СНК (Совета народных комиссаров) 1932 года «О введении паспортной системы и обязательной прописки» относилось к городам. Крестьяне паспортов не получили, вместе с тем у них была отнята свобода передвижения. См. Советское общество. Возникновение, развитие, исторический финал. — Т. 2. Апогей и крах сталинизма. — Москва: РГУ. 1997. — с. 675.

<sup>209</sup> Трудодень — единица измерения трудовых затрат, с помощью которой рассчитывали индивидуальный заработок колхозника, выдававшийся зерном.

- 229 -

погибли на фронте, местные не проявляли враждебности к ссыльным. Только однажды старик, у которого война отняла двоих сыновей, с косой в руках набросился на Айвара: «Фашист, ты моих сыновей убил!»

Много странного и непонятного было в местной жизни. Поле следовало засеять в указанный срок, даже и в дождь, и в слякоть, а вырастет там что-нибудь или нет — дело десятое. Главное — отрапортовать в районный центр, что сев окончен. Со скотиной местные обращались безжалостно, били, осыпали бранью. Какой контраст с той сердечной близостью, какая связывает латышку с ее буренкой, реченькой, дымочкой, латыша с его гнедком или чалым! Дети здесь росли сами по себе, как трава. У малышей штанишки сзади не сшивались, чтобы в нужный момент там все было открыто. Так они и бегали кругом, полуодетые, изъеденные мошкой и комарами. Безжалостный естественный отбор оставлял в живых сильнейших. Отношения полов были довольно свободными. Особенно после войны, когда в небольших сибирских деревнях женщин оказалось куда больше, чем мужчин. У Павла Ивановича — местного донжуана — чуть ли не в каждом дворе было по внебрачному ребенку, и все это знали. Когда приезжал кто-нибудь из районного начальства, в чьей власти было карать или миловать, похвалить или объявить вредителем всякого, кто ему не понравится, — сам председатель спешил спроворить закуску и хмельную брагу, а также и молодку посмазливей.

Айвара отвращали примитивные отношения между женщинами и мужчинами, так отличавшиеся от сдержанного, пуританского духа, преобладавшего в Латвии. Пока он не владел русским языком, многое из ругательств и скользких намеков, без которых не обходился ритуал «ухаживания», оставалось для него непонятным. Позднее, когда смысл

- 230 -

сказанного для него уже не был тайной, Айвар старался не слушать — не хотел, чтобы эти непристойности бросили тень на его воспоминания о первой влюбленности, пережитой незадолго до депортации. В колхозе была такая нехватка мужчин, что даже вконец ослабевшие латышские парни казались желанными местным девушкам, изголодавшимся по ласке. В нашем семейном архиве сохранилась фотография, на которой видны две сестры — доярки с пышными формами и круглыми, туповатыми лицами. Смеясь и ужасаясь разом, бабушка рассказывала, что они уговаривали отдать им сына. Сестры готовы были делить между собой будущего мужа, кормить и холить. Теща, обещали они, будет сыта тоже. «Я бы скорей согласилась видеть Айвара в гробу», — завершала свой рассказ бабушка. Я была еще ребенком, но глядя на плоские, как блины, лица двух сибирячек, кажется, понимала, что тогда должна была

чувствовать бабушка.

Почти все латыши, оказавшиеся в Сохте, были горожанами, незнакомыми с сельским трудом<sup>210</sup>. Милда по крайней мере помогала родителям, когда те в тридцатые годы переселились в деревню и арендовали там землю; она знала, что такое мотыжить, окучивать, полоть. Айвар, настоящее дитя города, умел обращаться с электрическими проводами и приборами, мог собрать детекторный приемник или сторговать нужную вещь на черном рынке, но эти навыки никак не пригождались в поле, при пахоте, севе, косьбе. Первая работа, которую ему пришлось освоить, была пахота. Четырех быков впрягали в тяжелый плуг. Чтобы они не сбивались с борозды, спереди их вел за недоуздок какой-нибудь мальчишка или женщина. Пахарю нужно было идти следом за плугом, проводя борозду как можно глубже. Намного глубже, чем в Латвии. Это требовало мужской силы и сноровки, между тем как Айвар совсем обессилел. Мой отец вспоминал первый рабочий день: голова непрестанно кружилась, он вцеплялся

[210](#) Вместе с Милдой и Айваром Калниетисами в Сохту были направлены Карлис и Расма Мелбардисы, Эльза Мунце, Милда Авотиня, Анна Бразе, медсестра Скудра, Ванда Пликаусе.

- 231 -

изо всех сил в плуг, только бы не потерять сознание. Не он направлял плуг, а плуг тащил его за собой. От дурного питания и недостатка витаминов у него началась в ту пору цинга, ноги распухли и покрылись нарывами. Нарывы на ногах были и у Милды, правда, она на них почти не обращала внимания. Куда больше мучила ее собственная беспомощность — на глазах у матери терял остатки здоровья ее ребенок, а чем она могла его поддержать? — только поделиться какой ни на есть едой, отрывая кусок от себя. Милда как сестра милосердия всю жизнь работала, облегчая чужие страдания, ухаживала за больными и ранеными, а теперь вот должна была беспомощно взирать на мучения родного сына. Я с детства помню страшный рассказ бабушки, когда она, приложив палец к щеке, показывала: вот так у твоего отца в Сибири шатались зубы, нажму в ту сторону — вжик, они отходят, нажму отсюда — вжик, становятся на место». Местные с авитаминозом и цингой боролись с помощью дикого чеснока — колбы. Это спасительное чудо-средство фигурирует в воспоминаниях многих ссыльных. Летом ели листья колбы, осенью собирали их и заквашивали на зиму. Колба повышала защитные силы организма, была чуть не единственным источником витаминов. Дикий чеснок помогал и Айвару, но голод от него не уменьшался. При всей своей слабости отец во время сева заработал премию — 15 рублей! Теперь Милда могла купить кусок мыла.

С одной колбы отец вряд ли бы выздоровел. Его спасли молоко и картошка. Председатель колхоза был человек не злой; видя, как чахнут молодые латыши — и парни, и девушки, — он в середине июля отправил их на сенокос на самые дальние луга. Айвар к тому времени так ослабел, что не сразу смог забраться на лошадь. Кружилась голова, поводья выскользывали из рук. Тощий всадник и столь же исхудавшая лошадь, у которой дугами проступали ребра и

- 232 -

позвоночник торчал наружу, словно зубья пилы, были схожи. Ехали через тайгу и болота по едва заметной тропе. Айвару страшно было видеть, как, пересекая болото, его конь погружается в топь все глубже, так что под конец только голова и шея выглядывают наружу. Комары и кусачая мошкара тучей нависали над путниками. Насекомые въедались в тело до мяса, лезли в глаза, за уши, так что лицо и шея вскоре начинали выглядеть как красно-бурая корка. После двух дней

пути, наконец, добрались до колхозного луга, и все тяготы пути вскоре забылись: тут работников кормили досыта. Косьба — нелегкий труд, и потому косарям полагалось питание получше, чем другим колхозникам. Каждый день им выдавали полкило горохового хлеба, а картошки и снятого молока можно было есть сколь угодно. Молоко также заквашивали, приготавливали творог. Айвар с другом Карлисом, бывало, начистив целое ведро картошки, отваривали ее, разминали, заливали молоком и ели так, что за ушами трещало. Они настолько изголодались, что могли умять еще и вторую такую же порцию.

Косить надо было учиться. Прошел не один день, пока горожане научились обращаться с косой. Первые пару недель слабость мешала им поспевать за местными, но потом латышские парни освоили дело и норму выполняли с лихвой. При такой жизни силы возвращались не только к людям, но и к лошадям и быкам, спины которых округлились и заблестели. Вместе с сытостью в животных проснулась бодрость — они носились по лугу, озоруя, взбрыкивая задними ногами или бодая рогами только что сметанные стога.

В начале октября, когда река Каршан начала покрываться льдом, а земля замерзать, косари двинулись в обратный путь. Переpravляясь верхом на лошади через какую-то реку, Айвар оказался в ледяной воде. Высушить одежду было негде, пришлось ехать дальше мокрым. Одежда вскоре смерзлась и

- 233 -

гремела как железо. Айвар отчаянно мерз и с тоской чувствовал, что после ледяной купели неизбежно опять свалится. Никогда он не забудет, как метался в жару — на лугах в тот раз у него началась ангина. Ни лекарств, ни какой-либо помощи — в конце концов миндалины так распухли, что он начал задыхаться. В отчаянии и ужасе он руками разорвал гнойную завесу в горле, и освежающий воздух прошел в легкие. Не хотел бы он еще раз пережить такой панический страх! Удивительно, но после «купания» в ледяной воде Айвар не захворал, что доказывает: тяжелый труд и простая, но обильная еда дали ему необходимый запас прочности.

То, что Айвар поправился, вернуло моей бабушке что-то от прежней, казалось бы, неиссякаемой жизнерадостности. Плечи выпрямились, голова гордо вскинулась — она сделалась опять той независимой Милдой, которая умела ободрить шуткой и успокоить отчаявшихся, разложить пасьянс или погадать на картах... Никакой ясновидящей моя бабушка не была, но гадание на картах стало для нее в Сибири необходимым ритуалом, сеансом психотерапии, позволявшим противостоять жизненным невзгодам. Милдин «курс карточной терапии» помогал другим латышам — и поддержать надежду, и облегчить сердце: внимательно разглядывая бубновую шестерку, девятку треф или даму червей с ее пылким сердцем, можно было заодно поделиться своими тревогами, загадать, что ждет тебя в будущем. Терминология, используемая бабушкой, отвечала обстановке. «Казенный дом» — вызов в комендатуру, «трефовый король, к неприятностям» — любое начальственное лицо, «благая весть» — письмо из дома, «дорога дальняя с утра пораньше» — переселение или другие перемены недобровольного свойства. Бабушка и меня учила раскладывать пасьянсы и гадать, и я применяла полученные знания в школе, на перемене раскладывая карты для одноклассниц и с умным видом повторяя бабушкины

речения. Только здесь «трефовый король, к неприятностям» был учителем, поймавшим нас на каком-нибудь очередном озорстве, «благая весть» — конечно же, записка мальчика с предложением встретиться после уроков. Моя слава была так велика, что даже старшеклассницы удостаивали меня своими просьбами погадать, что их ждет впереди.

Местная власть — председатель колхоза и бригадир поначалу не принимали мою бабушку всерьез и, как оно было принято в Сибири, старались показать свое начальственное и мужское всеисилие, шпыняя на каждом шагу, бранясь и придираясь. Дело осложнялось еще и тем, что Милда была очень мала ростом — метр сорок три — и вконец исхудала, двигалась робко, выглядела совсем ослабевшей; это поощряло начальников к новым придирикам. Однажды при работе у веялки, когда председатель обрушился на нее с новой порцией ругательств, побуждая «ленивую корову, такую-рассякую» шевелиться побыстрее, терпение моей бабушки лопнуло. После очередного — давай, давай быстрее! — поток брани; быстрее же! — и новая тирада, — Милда набросилась на председателя с лопатой, которой сгребала зерно. Огромный мужик отпрыгнул, оторопев от неожиданности, и с опаской уставился на маленькую, тощую женщину, в глазах которой сверкала такая решимость, что уже заготовленная брань застряла у него в горле. Бормоча себе под нос что-то о чокнутых и ненормальных, он поспешил удалиться, дабы с кем-нибудь попроще восстановить поколебленное самоуважение. После этого случая местные начальники оставили Милду в покое.

В конце июля пришло первое письмо от матери, Матильды, и Милда с великим облегчением узнала, что Арниса не забрали. Сын жил в деревне, при Матильде, остававшейся его единственной кормилицей и поддержкой. Утром 25 марта

моя бабушка отсылала мальчика в Сигулду в такой спешке, что не успела даже дать ему никакой одежонки в запас. Из письма она узнала, что матери из ее скудного имущества ничего не досталось. Все растащили. У Милды сердце сжималось, когда она читала, в какой нужде живут ее мать и сын: «Кушать-то нужно всякий день, ни разу не вышло наестся как следует. Хоть плачь — были бы все вместе, хватило бы и жилья, и хлеба на всех. Кажется, что все это страшный сон, и пора бы проснуться... У меня от всего пережитого кровавая рана в груди, и только могила сможет ее исцелить»<sup>211</sup>.

В 1949 году моей прабабушке Матильде было уже семьдесят лет. Полвека тяжелой работы за плечами, истерзанные ревматизмом кости, глаза, в которых свет наполовину угас, — и все-таки унаследованное от рода Эглитисов упрямство и духовная сила помогли ей выстоять, не сломиться под еще одним ударом судьбы. Она положила на покровительство Всемогущего, уж Он не допустит победу зла и позаботится о том, чтобы ее дочь и оба внука не погибли. Себя она видела орудием в Божьих руках, назначенным растить чудесным образом спасенного Арниса до тех пор, пока он сможет сам о себе заботиться и помочь матери и брату там, в далекой Сибири. Дочь писала, что оба сосланы навечно, однако жизненный опыт подсказывал Матильде, что ни одно правительство не вечно: что решено людьми, то люди могут изменить. Письма Матильды — нескончаемый рассказ о выживании, когда победа в борьбе за самое элементарное: пищу, одежду для Арниса, грядку картофеля или клочок соломы для коровенки — позволяла пережить еще одну зиму и отдышаться летом. У нее самой нет ничего такого, что

можно было бы послать своей милой Милдочке или Айвару, но зато она хлопчет, чтобы кто-нибудь из многочисленной родни, Эглитисов и Кайминьшей, собрал очередную посылку в Сибирь. И вот ей приносят

[211](#) Письмо Матильды Каймини Милде Калниете. 10 июля 1949 года.

- 236 -

вязанные носки и варежки, муку и копченое сало — все это, не оставляя ни крошки ни себе, ни даже Арнису, она шлет дочери. Милда испытывает угрызения совести при мысли о жертвах матери, но ведь и она мать, Айвару нужна обувь, нужно питание, чтобы выжить. Плача, читает она письмо Матильды: «С июля у нас нет ни муки, ни крупы. Сегодня была у меня Вилма, принесла банку крупы и материю Арнису на брюки. (...) На праздники опять мы остались без хлеба»<sup>212</sup>. Или: «Силы с каждым днем тают, а есть все равно хочется зверски»<sup>213</sup>.

Первый год после высылки дочери Матильде помогала выжить надежда, что как только сын Вольдемар выйдет из заключения, он снимет тяжкую ношу с ее согнутых плеч и поможет матери и сестре. Сын никакого преступления не совершал. Ему просто не повезло. В один из милицейских налетов на черный рынок в 1945 году Вольдемара арестовали и осудили на пять лет за спекуляцию. Какая там спекуляция — кто же после войны не пытался что-нибудь продать или выменять на черном рынке?

Скоро и Вольдемар написал из тюрьмы: «После освобождения помогу повернуть все к лучшему, тогда устроимся общими силами хорошо, насколько это возможно. Думаю, мое ремесло и опыт, да и знание языков даст заработать на хлеб с маслом где угодно»<sup>214</sup>. Милда любила брата. В ее памяти ничто не могло затмить радость детства, когда она чувствовала себя надежно и весело под крылом старшего брата, который ее защищал, баловал и лелеял. Волдис, — так она его называла, — унаследовал от отца стройный стан и красивое, по-итальянски смуглое лицо с пылкими карими глазами. Он был остроумен и общителен, а его успех у женщин был таков, что жену ему удалось заполучить из круга, на который отпрыск скромного семейства Кайминьшей

[212](#) Письмо Матильды Каймини Милде Калниете. 30 октября 1949 года.

[213](#) Письмо Матильды Каймини Милде Калниете. 6 января 1951 года.

[214](#) Письмо Вольдемара Кайминьша матери. 12 сентября 1949 года.

- 237 -

вряд ли мог претендовать. Он был ученым агрономом и членом корпорации, но, как оно нередко случается с талантливыми людьми, которым все само дается в руки, брат не умел противостоять жизненным соблазнам, и его блестящее будущее постепенно тонуло в рюмке спиртного. Лестный брачный союз распался, и дальнейший жизненный путь Вольдемара был медленным, но верным скольжением вниз, к величайшему горю родителей, так гордившихся сыном. Милда хотя и знала, что на брата уже трудно полагаться, но с лихорадочной верой попавшего в безвыходное положение человека ждала, что Вольдемар выполнит обещанное, поддержит и мать с ее Арнисом, и их в Сибири. Тем горше было ее разочарование, когда Вольдемар, выйдя из тюрьмы и пожив несколько дней у матери, надолго исчез. Потом опять вынырнул, наобещал кучу чудес, снова пропал. Потом до Матильды доходили слухи, что Волдиса видели в Елгаве, Лиелстраупе, что он уехал в Россию, только вот времени навестить

родную мать у него все не находилось. Не говоря уж о том, чтобы прислать ей несколько рублей. Гонимые нищетой, Матильда и Арнис не раз меняли место жительства. Когда прабабушка умерла в 1952 году, рядом не нашлось никого, кто выполнил бы ее последнюю волю — быть похороненной на рижском Лесном кладбище рядом с мужем Петерисом. Похоронили Матильду чужие люди на кладбище в Берзе. Тринадцатилетнему Арнису предстояло дальше пробиваться в жизни самому. Это предательство моя бабушка никогда не простила Вольдемару и после возвращения в Латвию его не искала. Только на закате жизни, предчувствуя близость смерти, она написала брату, предложила встретиться. Вольдемар пришел. Старый, сломленный, почти слепой — и все-таки я, зеленая глупая девчонка, смогла разглядеть в нем следы былой привлекательности. Когда Вольдемар умер, не кто иной, как Айвар честь по чести похоронил его на Лесном кладбище, рядом с отцом и моей бабушкой.

- 238 -

Письма Матильды полны жалобами на Арниса, на то, что он не слушается, не учится и не ведет себя так, как, по ее мнению, следует. Милда тревожилась и переживала, не догадываясь, что в сообщениях матери немало преувеличений. Арнис не был ни дурным, ни распущенным. Его провинности были точно такими же, как у большинства сверстников. Правда, порой он становился неуправляемым и даже грубым, однако на то были свои, более глубокие причины. Матильда в воспитании внука опиралась на представления, типичные для прошлого столетия. Ей-то самой в детстве были обеспечены стабильность и надежность в кругу большой и дружной семьи Эглитисов. Она была слишком стара, чтобы оценить, насколько потрясли одиннадцатилетнего Арниса жуткие картины войны, а тем более последние события — высылка матери и брата. В судьбе мальчика повторялось, точно в заколдованном круге, несчастное детство его отца Александра, у которого родителей отняла первая мировая война. Только Арнис остался сиротой при живых родителях — его отец был узником Гулага, мать отбывала бессрочную ссылку в Сибири. Арнис, глубоко несчастный, как большинство детей, не понимал собственных противоречивых чувств, не умел выразить ощущение незаслуженной обиды, оно росло и росло в подсознании, чтобы затем вырваться в том неадекватном, необузданном поведении, которое так донимало Матильду. Потом, успокоившись, Арнис сам себя корил — зачем опять вел себя так плохо и обижал свою милую бабушку; с детской горячностью бросался обнимать ее...

Письма Арниса, адресованные матери, написаны учеником пятого, затем шестого класса; их четкий, выразительный язык не назовешь обычным для этого возраста. Эти письма несколько успокоили Милду, она уже не так тревожилась, что сын без нее собьется с пути. Раз уж Арнис

- 239 -

хорошо учится, участвует в спортивных соревнованиях, занимает какие-то там почетные места, помогает в сельских работах, значит, жалобы Матильды преувеличены. По крайней мере, этот груз на душе стал полегче. В первый сибирский год под впечатлением постоянной борьбы за свое и Айвара физическое выживание Милда видела в том же свете и другие проблемы. Каша или картошка в тарелке Арниса ей казались важнее, чем его душевные муки. Только спустя какое-то время она начала сознавать, насколько несчастным чувствует себя ее сыночек. Не умея своими словами выразить тоску, сын в одном из писем переписал длинное стихотворение. Уже первые строчки обожгли Милду болью:

Хоть бы раз в своей жизни опять

Мне родных мать с отцом увидеть...<sup>215</sup>

Ох, а ей-то? Ей бы хоть раз еще увидеть своего Арниса, утешить, приласкать!

Арнис очень скучал по матери. Больше, чем по отцу, с которым вместе из-за войны, а также из-за разногласий между родителями довелось побывать редко. Кроме того, он чувствовал, что в бедах мамы и брата в какой-то мере повинен и Александр. По крайней мере, так утверждала Матильда. В школе ему тоже внушали, что нужно непримиримо бороться с буржуазными националистами, бандитами, ведь они хотят утопить Латвию в крови и отдать империалистам. Арнису не с кем было даже словом перемолвиться, поскольку об «этих вещах» люди молчали, и мальчик мучился, пытаясь уяснить суть дела. Кто его отец — преступник или, так же, как мама и брат, невинная жертва? В немногих письмах отца он тоже не находил ответа. Противоречивые чувства обуревали его. Он хотел быть хорошим сыном, а потому старательно писал отцу в лагерь, но в душе ощущал горечь и обиду: отец мало того, что оказался не с ним, он еще и мать, и брата

<sup>215</sup> Письмо Арниса Калниетиса матери. 31 марта 1950 года.

- 240 -

отнял. Совсем иными были его чувства к матери. Мальчик так ждал ее писем, ему всегда казалось — они приходят слишком редко и чересчур коротки. «Мамочка, пиши письма подлиннее. Мне еще надо написать отцу, он тоже ждет весточку с Родины. Мамочка, мы вас не забываем. Еще вы получите много радостных и грустных вестей с Родины. Пришли мне, мама, свою фотографию»<sup>216</sup>. Казалось, с течением времени тоска пошла на убыль, но на самом-то деле Арнис из чувства самосохранения просто загнал ее вглубь. Тогда он еще не осознал, что там, в глубине души, она будет оставаться всегда, куда бы он ни шел и что бы ни делал. Постепенно тень этой скрытой печали отразилась в чертах лица, в выражении глаз. Даже я это помню: мой дядя умел и сам весело посмеяться, и развеселить собеседников шуткой, но вот он замолчит — и уже отгородился ото всего, будто и не было недавнего смеха и веселья.

Следующим ударом, окончательно отвердившим броню его одиночества, стала смерть Матильды летом 1952 года. Арнису было всего тринадцать, когда, не успев побыть и подростком, он вынужден был начать свою взрослую жизнь. Один он остался, один-единешенек в целом мире. Если бы семья, жившая по соседству, не приняла мальчишку, Арниса ждал бы сиротский приют. Благодаря добрым людям, у Арниса теперь был кусок хлеба и дом, куда можно вернуться после школы. От мечты — стать моряком — пришлось отказаться и пойти в профучилище, к которому у него душа не лежала. Но там кормили бесплатным обедом, выдавали казенную одежду и форменную куртку. Так же, как его отцу Александру, жизнь не оставляла ему выбора. Эту раннюю горечь мой дядя так и носил в себе.

Милде никогда уже не удастся заровнять трещину между нею и сыном или, верней сказать,

между сыном и остальным

[216](#) Письмо Арниса Калниетиса матери. 9 января 1951 года.

- 241 -

миром, к которому он причислял и мать, и брата. Сама себе не признаваясь, она это почувствовала уже в 1954 году, когда Арнис на каникулы приехал к ней в Сибирь. Милда не отрываясь смотрела в такое знакомое и вместе с тем изменившееся лицо, слушала его рассказ о прожитых годах, но незримая завеса стояла между ними — она позволяла видеть друг друга, ощутить тепло, однако преграда оставалась. После возвращения в Латвию оба они старались преодолеть это отчуждение, но целиком избавиться от него не удавалось. Милде не дано было жить и дышать рядом с сыном в то время, когда мать ему была всего нужнее. А потом уже он привык быть один.

Коротким было первое лето в Сибири. Не успели толком отдышаться, собраться с силами, как подступила зима. Снег выпал в октябре. «Никогда в жизни я так не мерз, как в первую сибирскую зиму. Временами казалось, что даже душа заледенела, но болеть я не болел»<sup>217</sup>, — вспоминал мой отец. Перед ссылкой Айвару на заводе ВЭФ не успели выдать зарплату, и товарищи по работе прислали ее в Сибирь. На эти деньги можно было купить телогрейку, зимнюю шапку и ватные брюки. В помещении, где ссыльные жили сообща, было очень тесно, но это не спасало от холода. Моя бабушка, будучи и старше, и опытнее других, решила, что нужна печка. Уж конечно, никаким печником она не была, но, посмотрев на то, как справляются с этой проблемой местные старожилы, Милда соорудила небольшую печурку из коровьего навоза — удивительным образом это устройство не слишком дымило и притом грело! Как-то ночью Айвар слишком близко придвинул ноги к самодельному источнику тепла, и его единственная обувь — выменянные летом галоши сгорели. Денег, чтобы приобрести валенки, не было, потому пришлось довольствоваться самодельными кожаными мокасинами — они тут назывались чирками — с голенищами из

[217](#) KalnietisA. Tumšiegadi: atmiņasparizsūtījumu. 1990. gada rudens. — 11. lpp. Ģimenes arhīvs.

- 242 -

брезента. Набьешь чирки болотной травой, обуешь — и почти тепло. В первой посылке из Латвии оказался подбитый овчиной жилет, прослуживший моему отцу все сибирские годы, — шерсть кое-где вытерлась до голой кожи.

Председатель колхоза назначил молодых латышей на лесоповал за тридцать километров от усадьбы. Все лесорубы, и ссыльные, и местные, пришедшие на заработки из дальних деревень, жили вместе в огромном бараке, в центре которого стояла железная печь, топившаяся днем и ночью. Здесь же, в бараке был устроен примитивный продуктовый ларек, где в долг можно было взять до двух килограммов хлеба; продавали там и манку, сахар, даже мясо. Иной раз в лесу попадался в ловушку заяц, в таком случае зайчатину варили с манной крупой, ели вкусную похлебку и запивали подслащенным кипятком на десерт. С картошкой им, правда, не повезло — Айвар не сообразил, что при тамошних морозах она мигом замерзнет и станет почти несъедобной. Теперь стало понятно, почему местные картошку сперва отваривают, потом разминают, скатывают в шарики и замораживают. В таком виде они, как и ледяная квашеная капуста, могут храниться на морозе всю зиму, к тому же удобны к перевозке. В дальнейшем он

делал так же. И многому другому приходилось учиться у тех же сибиряков, накопивших опыт выживания в суровых условиях, умевших компенсировать нехватку витаминов и однообразие скудной пищи. Опасаясь вновь заболеть цингой, Айвар морщился, но пил хвойный отвар — вонючую зелено-коричневую бурду, оказавшуюся целительной. Труд был тяжелым, и без поддержки выдавших виды мужиков мой отец едва ли справился бы с нормой. Ему нужно было на лошадях вывозить бревна из леса к речному берегу — весной их сплавляли вниз по реке, к лесопилкам. Скопить ничего не удавалось, но Айвар по крайней мере сам был сыт и мог немного помочь матери.

- 243 -

В декабре до Айвара в лесу дошло известие, что его мать сломала ногу и отправлена в больницу в Колпашево. Добилась, чтобы ее отвезли, одна медсестра, тоже из ссыльных: она не отставала от председателя до тех пор, пока он не пошел на ближайшую почту — та была в соседней деревне — и не вызвал самолет санитарной авиации. В больнице Милда пролежала все оставшиеся зимние месяцы. Здесь было тепло, кормили немудряще, но досыта. Страшно подумать, что было бы с моей бабушкой, если бы она так и осталась в поселке. Хрупкость костей была проклятием Милды: этот, четвертый по счету, перелом был в ее жизни не последним. Еще один она пережила в Сибири и затем два — уже в Латвии. В Риге, в Институте травматологии, в конце концов установили, что у нее редкая болезнь, в результате которой кости кристаллизуются, становясь твердыми, как камень, но чрезвычайно хрупкими. При малейшем ударе кость ломается. После возвращения из Сибири таинственная «мраморная болезнь» заставила ее уйти из больницы, где бывшие коллеги приняли было ее с распростертыми объятиями. Всего два месяца успела она поработать медсестрой — поскользнулась на яблочном огрызке, упала... На сей раз перелом был крайне сложным. Врачи годами добивались, чтобы кость срослась, но после многих операций и долгого пребывания в больнице бедренный и коленный суставы сломанной ноги уже не сгибались. Моя бабушка стала нетрудоспособным инвалидом, и психологически это ее доконало. До последних часов своей жизни она не могла примириться с мыслью, что во всем зависит от других.

Только с теперешним своим жизненным опытом я сполна могу оценить неповторимую личность бабушки. Она обогнала свое время на целое поколение, ибо не считала, что цель жизни женщины достижима только при помощи

- 244 -

мужчины и брака. Работа была для Милды существенным способом самоутверждения личности, а не вынужденным временным состоянием перед замужеством или иным окончательным устроением жизни. Ей присуща была необычайная сила воли, заставлявшая иной раз даже чужую жестокость отступить и опомниться, — и все потому, что она внутренне была свободна и независима. Никому не удалось ее подчинить — ни мужу Александру, ни прожженным чекистам. Лишь собственное тело предало ее, но и тут она не сдалась. Годами прикованная к постели, она с неизмеримым терпением и величайшим упрямством проделывала упражнения для негнущихся суставов, твердо веря, что однажды опять встанет на ноги. Миллиметр за миллиметром — нога начала сгибаться в колене, и она встала на ноги! Она ходила... пока новый перелом не перечеркнул все достигнутое с таким мужеством и трудом. Даже в больнице, куда бабушке часто приходилось возвращаться, она своим остроумием и неисчерпаемой выдержкой, умением стойко переносить боль завоевала общие симпатии.

Бабушка вела обширную переписку с друзьями юности и теми, которых оставила в Сибири, с родными, с людьми, встреченными и узванными в больнице. Ее письма — образец по-своему совершенного стиля, заставляющий в наше время стремительных контактов еще острой ощутить, насколько значимая форма человеческого общения невозвратно ушла в прошлое. Как-то в письме из Сибири Милда с большим юмором описала домашнее происшествие: голодный теленок стащил из предбанника и принялся жевать ее платье. Моя бабушка «в костюме Евы» бросилась догонять негодника, чтобы вернуть свою единственную одежду. Так они оба и неслись по заснеженному полю — рассерженная голая женщина и перепуганный теленок, пока полуизжеванное платье не было, наконец, отнято у скотинки. Подругу Милды рассказ настолько вдохновил, что в ответном письме она прислала свои к нему

- 245 -

иллюстрации! Последние десять лет жизни из-за несчастья с ногой бабушка провела, почти запертая в четырех стенах, но даже и в таких условиях это не помешало ей живо интересоваться происходящим в мире. А с каким жаром она следила за спортивными новостями — раскрасневшаяся, азартная, она во весь голос подбадривала своих любимец, баскетболисток знаменитой команды ТТТ. В юности я с самоуверенностью, свойственной возрасту, часто бывала к ней несправедлива. Я не могла представить себе, как страдает свободный дух, заключенный в немощном теле. Сколько же ей пришлось претерпеть!

После возвращения из больницы Милда не могла больше работать в колхозе, и обоим пришлось жить на заработки Айвара — средств хватало лишь на то, чтобы окончательно не обессилеть от голода, как это было в прошлом году. Бабушка лежала на старой расшатанной «варшавнице» — так в тех краях называли металлическую кровать, которую в изголовье и в ногах венчали столбики с конусообразными набалдашниками, — и курила так, что дым стоял коромыслом. Толстенный роман А. Упита «Земля зеленая», захваченный с собою из Латвии, был единственным источником бумаги для «козых ножек»; бабушка докуривала последние страницы. Обычно на столбике в изголовье кровати сидел кот Брыська, а в ногах пристраивался цыпленок Цыпа, спасенный от мороза. Бабушка, предаваясь воспоминаниям, со смехом называла эту свою проржавленную и скрипучую кровать «ведьминым ложем». Название было таким образным, что в детстве переносило меня в сказку, где дым стоял столбом, а злые ведьмы колдовали, обращая людей в животных. Но моя-то бабушка не была злой. Она была воплощенной любовью и не раз спасала меня от гнева родителей, недовольных моей очередной шалостью.

- 246 -

На второй год ссылки сердце уже не так болело от тоски по дому. Ожесточилось. Айвар понемногу привык ко всему: валить лес, пахать, сеять, косить — и легче справлялся с делом. Он посадил ведра два картошки — по крайней мере, не придется покупать зимой. Еще в начале июня его послали на пристань Инкино, там с большой баржи на меньшую надо было перегрузить семенное зерно. Обратный путь вышел тяжелым, нужно было грести, поднимаясь против течения по реке Каршан. «Сидели по двое на каждом весле. Всего двенадцать гребцов и еще штурман. Похоже было на древнюю галеру, где гребцами сидят рабы. Двигались медленно, река очень извилистая, местами быстрая. Приходилось вылезать и тащить баржу бечевай. Брели по грудь в холодной весенней воде. Так шли три, четыре дня»<sup>218</sup>. Как схожи судьбы моих родителей — оба, только каждый в свой срок, голодали, трудились сверх сил в лесу и в поле,

оба тянули ляжку, как бурлаки. Там, в Инкине, перегружая мешки с зерном, мой отец так натрудил покалеченную во время войны ногу, что остановленный было процесс деформации кости возобновился. Его еще возможно было приостановить, но Айвар не мог уклониться от тяжелых работ, от перетаскивания тяжестей — такое «лодырничество» в Сибири было немислимо, поэтому от непрерывного перенапряжения нога укоротилась и потом многие годы нестерпимо болела.

На первых порах председатель колхоза смотрел на присланных к нему латышей с пренебрежением — они, по его мнению, были неумехи и лентяи. Однако даже в своем тогдашнем состоянии латыши быстро приноровались к сельским работам и трудились не хуже других. Это смягчило председательское сердце, так что в дальнейшем он ладил со своими подопечными и, насколько мог при тогдашней колхозной бедности, относился к ним с пониманием и отзывчивостью. Он жалел Айвара, который из-за больной ноги

[218](#) Там же, с. 12.

- 247 -

не мог работать в полную силу, поэтому, когда сев был закончен, он уговорил коменданта отпустить парня с ним вместе в районный центр Колпашево. Заодно пусть покажется в больнице врачам. Поездка была для Айвара нешуточным приключением — вот уже больше года он не бывал в городе. Как ни скромно выглядело Колпашево, город как-никак был «столицей района, а район по территории превосходил всю Латвию. Там находились все районные учреждения, школы, больницы, пристань, аэропорт, промышленные предприятия. Удивительно, что все постройки были деревянными. Кирпичным было только здание универмага. Самые высокие здания — в два этажа, тоже бревенчатые. Окна старых домов украшала затейливая деревянная резьба. Фундаментом домов служили круглые сваи, вбитые в землю стоймя. Их накрывали деревянным каркасом, заполненным землей или опилками»<sup>219</sup>. Отец уже не помнит, помог ли тогдашний визит к врачу, однако поездка оказалась судьбоносной в другом отношении — она изменила жизнь обоих, и его, и бабушки.

Километрах в восьми—десяти от Колпашева находился поселок Тогур, куда разрешили незадолго до того переехать ссылкой из Сохты — Расме и Карлису Мелбардисам. Айвару до того хотелось повидаться с друзьями, что он решил рискнуть и отправиться к ним без разрешения комендатуры. Авось повезет и не застукуют — неужели в воскресенье комендант будет рыскать вокруг? Поговорив с земляками и посмотрев на тогурскую жизнь, мой отец понял, что у рабочего и кусок хлеба потолще, и условия работы получше. Желания его тогдашние были более чем скромны: «...было бы хорошо, если бы сюда удалось попасть, тут работать. Может, получилось бы зарабатывать хотя бы 60 рублей в месяц, тогда бы хватило на буханку настоящего хлеба и немного подсолнечного масла в придачу»<sup>220</sup>. Нужно же было так случиться, что на обратном пути у автобусной остановки

[219](#) Там же, с. 13.

Айвар столкнулся лицом к лицу с комендантом Тогур, тут же заметившим, что в поднадзорной ему местности появилось постороннее лицо. «Кто такой? Показать бумаги!» Моего отца задержали и доставили в Колпашевское отделение внутренних дел, где подробно допросили. Хорошо, Айвар владел к тому времени русским языком настолько, чтобы связно объяснить, как он попал в Тогур, рассказать о своей больной ноге, о том, что мать хворает. Изложив все это, с вдохновением отчаяния, он взмолился о разрешении переехать в Тогур. Комендант отрезал: что ты себе вообразил? Нарушил режим — и еще лезет с такой просьбой! По правде, так наказывать тебя следует, посадить в тюрьму! Каждую фразу сопровождала традиционная гроздь ругательства. Сорвав зло, начальник внезапно успокоился и сухо добавил: зайдешь через пару дней. С тревогой Айвар ждал новой встречи, почти не веря в ее благополучный исход; он уже видел себя в тюрьме или в лагере. Однако случилось чудо: комендант разрешил Айвару и Мидде переселиться в Тогур. Может быть, мягкосердечие майора объяснялось тем, что в его кабинете стоял радиоаппарат ВЭФ? Айвар успел рассказать ему, что до высылки работал на ВЭФе и учился на четвертом курсе в заводском техникуме. «Хорошее радио», — пробурчал тогда майор и вроде бы пристальнее посмотрел на моего отца. Может быть, какая-то доля этой «хорошести» невольно была им перенесена и на Айвара или даже на латышей вообще? Они, хоть и фашисты, особых хлопот не доставляли, работали неплохо и вообще народ как будто миролюбивый.

Так в конце лета 1950 года Милде и Айвару удалось вырваться из болот и лесов Сохты в Тогур. Мой отец устроился на кетскую лесопильню, им с матерью выделили комнатуху с плитой и печкой в новом рабочем бараке. Том самом, куда год спустя войдет молодая жена Айвара Лигита Дрейфелде и где к ним еще через год присоединится дочь Сандра.

### **МОЙ МНЕ, МАМА, ВОЛОСЫ ДОЖДЕВОЙ ВОДОЙ**

Я на площади Свободы в Тукумсе, вместе с мамой и отцом. С тех пор, как на месте исчезнувшего памятника Ленину журчит фонтан, бывшая Красная площадь тоже обрела свое прежнее название. Я попросила прохожего сфотографировать нас, всех троих. По краям площади — магазины, в надежде на возрождающееся благосостояние Латвии блещут витрины, суля товары, которые десятью годами раньше казались бы недостижимым чудом. На месте бывшего тукумского потребсоюза, где после возвращения в Латвию в 1948 году работала моя мама, теперь магазин игрушек. Только здание милиции осталось там же, где было, превратившись, впрочем, в полицию. Все изменилось до неузнаваемости с того далекого 7 декабря 1949 года, когда жизнь Лигиты Дрейфелде вторично была разбита. Вслушиваюсь в ее рассказ и физически ощущаю, в каком напряжении она жила с того дня, когда узнала, что одного из бывших ссыльных опять забрали. За ним последовал еще один, и еще. С каждым новым арестом Лигита чувствовала: вот-вот подойдет и ее очередь. Двери отделения милиции были хорошо видны из окна на втором этаже, у которого моя мама работала. И каждый раз, когда они отворялись, Лигита поднимала голову, смотрела — кто вошел, кто вышел. Облегченно вздыхала или застывала в страхе, если вышедший милиционер пересекал площадь в направлении их конторы. Так продолжалось днями, неделями, отчаяние сменялось робкой надеждой: а вдруг беда пройдет стороной? Напряжение становилось невыносимым, и неоткуда было ждать

спасения — отпущенных на свободу найти было легче

- 252 -

легкого. Ни переезд, ни смена женщиной фамилии в случае замужества — ничто не помогало. Однако приближение «своего милиционера» маме увидеть не пришлось. Она вышла — купить кое-что на рынке. А когда вернулась на работу, он сидел у ее стола и ждал.

Лигиту провели через площадь в отделение милиции и заперли в камеру. В тот же день состоялся первый допрос. Младший лейтенант милиции Пумпе обвинил ее в самовольном оставлении места поселения. Оправдания — что у нее было разрешение на выезд из Томской области, но его украли в поезде вместе с другими документами, — не помогли. Вот отрывок из протокола допроса:

«Ответ: 29.08.49. г. в поезде я потеряла паспорт вместе с другими документами.

Вопрос: Где ваше разрешение на выезд из Томской области?

Ответ: Я потеряла его вместе с другими документами. Поясняю, что предъявляла его в паспортный стол Тукумского отделения милиции, получая паспорт 26 апреля 1949 года.

Вопрос: Чем можете подтвердить свои показания?

Ответ: Ничем. Прошу принять во внимание, что паспорт я получила, а для этого нужно было предъявить разрешение на выезд из Томской области»<sup>221</sup>.

Как видно из протокола, младший лейтенант не придал услышанному на допросе никакого значения. Он не мог не знать, что без разрешения на выезд Лигите Дрейфедде не выдали бы паспорт, а без паспорта не прописали бы в Тукумсе и не приняли на работу. К тому же, это было легко проверить — паспортный стол располагался в том же самом здании. В архиве наверняка нашлись бы все предъявленные документы, в том числе и копия разрешения на выезд. Однако Пумпе не был заинтересован что-либо выяснять —

<sup>221</sup> LVA, 1987. f., 1. arg., 20293. 1., 19.1p.

- 253 -

отсутствие документа было прекрасным предлогом для того, чтобы «правильно» оформить бумаги и обосновать повторный арест<sup>222</sup>. Свою задачу он выполнил, и дальнейшее его, так же, как всех остальных пумпе в Латвии и во всем Советском Союзе, не волновало. Через несколько дней Лигиту в сопровождении милиционера доставили домой, где приказали собрать вещи. Затем перевезли в тюрьму предварительного заключения возле станции Браса в Риге.

Пока что нет ясности — почему в 1948 году небольшой части ссыльных, главным образом молодежи, разрешили вернуться в Латвию. Быть может, это произошло в связи с каким-то особенно секретным решением Министерства внутренних дел СССР или другой инстанции, не известным историкам. Не исключено, что из Москвы поступила инструкция, предназначенная для внутреннего пользования, или даже устное указание руководителям надзорной системы Томска и других районов, в которых жили спецпоселенцы, — при тоталитарной системе подобные указания выполняются без рассуждений. Возможно, молодых людей отпустили, потому что к моменту высылки они были несовершеннолетними, и в хаосе, связанном с войной,

власти забыли дать указание о включении их в список поднадзорных по достижении шестнадцатилетнего возраста. А поэтому, не зная, что делать с этими «неучтенными лицами», уполномоченные Министерства внутренних дел в Томске и районах выдали разрешения на их отъезд из Томской области. Так побуждает думать заключение генерал-майора Эглитиса и прокурора Мишутина о том, что «разрешение Лигите Яновне Дрейфелде выдано городским отделом внутренних дел города Колпашево незаконно»<sup>223</sup>. Заключение это точно так же могло быть фальсификацией, связанной с новыми требованиями МВД СССР. До 1948 года все спецпоселенцы находились на учете в Первом спецотделе Министерства внутренних дел СССР. Затем

[222](#) Документы в учетном деле семьи Дрейфелдов заполнялись поверхностно, и потому в книгу "Вывезенные» в данных о Лигите Дрейфелде вкрались неточности. В семейном архиве хранилась учетная карточка Л. Дрейфелде, последняя запись в ней сделана 15. 04. 1948. В книге упоминается, что она сбежала 15. 04. 1947., когда в действительности она находилась в Тогуре. См. Aizvestie / 1941. gada 14. jūnijs / LVA. — Rīga: Nordik, 2001. — 560. lpp.

[223](#) LVA, 1987. f., 1. apr., 20293. L, 20. lр.

- 254 -

их передали в Министерство государственной безопасности СССР, затеяв в 1948 году перерегистрацию «спецконтингента». В ходе ее обнаружили крупные недочеты: умершие не были зарегистрированы в своем новом качестве, дети, достигшие совершеннолетия, не приняты на учет, некоторые из ссыльных, совершивших побег, почему-то попросту отпущены. Мертвых «списали», а вот пропавших по иным причинам, в том числе детей, достигших шестнадцатилетнего возраста, начали искать. Сначала в местных масштабах, потом был объявлен всесоюзный розыск.

Лигита продолжала беззаботно жить в Тукумсе, не зная, что 10 мая 1949 года она уже объявлена во всесоюзный розыск. Благодаря медлительности советской бюрократической машинерии моей маме посчастливилось прожить в Латвии прекраснейшее лето своей молодости: гулять вдоль морского берега, носить красивые платья и туфли, навещать родных, встречаться с подругами, даже слегка влюбиться и заключить помолвку. Она была «найдена» 8 октября, когда уполномоченный Тукумского отдела внутренних дел подполковник Гайлис на запрос из Томска о местонахождении Лигиты Дрейфелде ответил: да, таковая здесь проживает<sup>224</sup>. 25 октября пришло письмо из Министерства внутренних дел СССР, в нем уточнялось, что «дети ссыльных по достижении ими 16-летнего возраста должны быть взяты на учет как административно сосланные, чтобы обеспечить надзор за ними» и добавлялось: «Согласно с вышеизложенным просим отправить по этапу обнаруженную вами Лигиту Яновну Дрейфелде, 1926 года рождения, к прежнему месту ссылки в Колпашевский район Томской области, где проживает ее мать, ссыльнопоселенка Дрейфелде Илзе Эмилия Индриковна»<sup>225</sup>.

Когда я начала работу над книгой, мы вместе с родителями пересмотрели скромный семейный архив. В нем

[224](#) Там же, с. 17.

[225](#) Там же.

- 255 -

обнаружились уникальные документы и письма, о существовании которых мы забыли. Среди них маленькая, зеленоватая записная книжка — дневник моей мамы, который она вела, когда ее увозили в Сибирь вторично. Мама тут же загородила книжечку руками, точно не желая показывать никому. Я ее понимаю — трудно было бы и мне доверить даже самым близким людям свои интимнейшие переживания. Я не хотела докучать маме неуместным любопытством, хотя сознавала, что для книги этот документ был бы неоценим. Спустя какое-то время, однажды вечером, мама прочитала мне и отцу отрывки из дневника. То было неповторимое переживание — слышать слова, идущие из такого далекого прошлого, и мамин голос, временами прерывавшийся от сдерживаемых слез, а то вдруг звеневший или вздрагивавший от смеха. Кое-где она дополняла читаемое всплывшими в памяти деталями или пояснениями. Весь этот эпизод с чтением дневника я сохранила в книге полностью, как самодостаточную ценность, где щемящая нота прошлого продолжает звучать в настоящем. После долгих колебаний мама согласилась на то, чтобы фрагменты дневника были включены в книгу. Поддаваясь моим уговорам, она преодолела застенчивость и осознала, что дневник — документ, уже принадлежащий не только ей, но истории, ибо доказательно свидетельствует обо всем том зле, которое коммунизм принес ни в чем не повинным людям.

Я читала и перечитывала дневник, всякий раз находя в нем новые нюансы, намеки или факты, глубоко затрагивавшие меня, обжигавшие новой болью при упоминании жестокостей, которые пришлось пережить моей матери. Как преступницу, ее пересылали из тюрьмы в тюрьму. Бесправная, униженная, она провела в тюрьмах почти пять месяцев. За это время первоначальное отчаяние уступило место полной апатии, и это, может быть, было единственным

- 256 -

средством защитить себя от новых душевных травм в мире уголовников, куда она была брошена. Немногие, нацарапанные простым карандашом листки — документ, сохранивший ее тогдашние переживания: унижения, физическую боль, подавленность, надежды, упрямство, решимость, бессилие. Никогда и никто не сможет погасить все это в памяти и подсознании моей матери и тысяч других ссыльных. Поныне в Латвии почти не исследованными остаются последствия ссылки, ее влияние на дальнейшую жизнь бывших ссыльных и даже на их детей, на поколение, не пережившее ссылку, но росшее в тесном контакте с людьми, прошедшими тернистый сибирский путь<sup>226</sup>. Ссылка несомненно оставила след также в психике и ценностной ориентации моей и моего поколения.

Дневник писался как воображаемые письма жениху, так никогда и не достигшие адресата. Лигите эти странички заменяли связь с миром вне тюрьмы — и писать, и получать письма ей запрещалось. Дневник помогал выстоять и не терять надежду, чувствовать себя полноценным человеком, а не «лагерной пылью».

«19 января 1950 года.

Сегодня первый день, когда пишу тебе. Хотела сесть за письмо еще вчера, от полноты сердца. Читала вчера твои письма, взятые с собой. Мне остается рыдать над моей ужасной судьбой. (...)

Сегодня получила от тебя посылку. Конечно, очень рада, но мне ничего не нужно, и я не хочу, чтобы ты мне что-либо посылал. Мысленно вижу тебя — как ты стоишь перед тюрьмой и ждешь, но до тебя не достать. Мне иногда хочется верить, что ты и правда приедешь ко мне в Колпашево. Но только иногда.

[226](#) М. Виднере исследовала воздействие ссылки на личность, искала ответ — из какого источника брались силы, помогавшие выжить в экстремальных условиях? — однако в этой работе ничего не сказано о последствиях травмы, о влиянии всего перенесенного в Сибири на дальнейшую жизнь ссыльных. См. Vidnere M. Ar asarām tas nav pierādāms... (Слезами этого не докажешь). — Rīga:LU, 1997. — 3i2. lpp.

- 257 -

25 января 1950 года.

Вскарабкалась к окну, посмотреть, что творится там, вне зоны. Мимо как раз проезжал троллейбус, и он навел на воспоминания. Помнишь, однажды летом у меня оставалось много лишнего времени до поезда, мы оба, чтоб не скучать, сели в троллейбус, покататься, и ты еще сказал — до конца не поедем, там тюрьма. Теперь вот увидела троллейбус, может быть, тот самый, в котором мы ехали так беззаботно. В конце концов я отошла от окна, легла на нары, выплакаться, выплакать все наболевшее. Как все-таки ужасно, что я здесь! Минутами могу быть совсем спокойной — это когда ни о чем не думаю. Но мысли насаждают, и они вгоняют меня в апатию. Я не хочу больше выходить на прогулку — сама не знаю почему. Должно быть, тюремные стены отупляют, и теперь меня уже не удивят люди, которые, перетерпев все и выйдя на свободу, становятся боязливыми и ждут лишь новых унижений.

27 января 1950 года.

Сегодня уезжаю. Не знаю, что ждет впереди. Мне не нужно думать, за меня думают другие. Это и лучше — я теперь не способна что-либо делать самостоятельно. Нас теперь будет разделять такое расстояние! До сих пор между нами были только стены тюрьмы да несколько троллейбусных остановок. А с этого дня — большие расстояния и тюремные стены. До весны.

28 января 1950 года.

Вчера вечером всех, кого назначили к отъезду, отвели на станцию при тюрьме. Этот путь мне выпал в первый раз, но, уж конечно, не в последний. Вещи сложили на сани, которые нам же приказали тащить. Опять мучительно пережила моральное унижение. Хотелось бы мне отупеть до того, чтобы хоть это меня больше не мучило. Только что проехали

- 258 -

Великие Луки. Если ты летом поедешь ко мне, тебе придется проезжать эти места тоже — вспомни, что и я все это видела, только через решетку.

1 февраля 1950 года.

Я сейчас в Куйбышевской тюрьме и все думаю — как это странно, что совершенно безвинный человек сидит в тюрьме вместе со всякими ворами и бандитами. Хочу рассказать тебе все

сначала. В Москве нас, т. е. меня с одной девушкой, Илгой, высадили и перевели в другой вагон, где в купе нас было семнадцать человек. Мне кажется, ты не сможешь это представить — как это в одном купе могут поместиться семнадцать человек. (Мама объясняла мне: «Это было обыкновенное купе, в котором устроили трехэтажные нары. На самом верху нары были сплошные, чтобы там уместились пять человек. Я почти все время плакала».) Ты наверняка не сможешь представить себе, как это — когда хочется пить, но вместо этого надо лежать в страшной жаре и тесноте, на голове друг у друга. Можно плакать и думать, что не выдержишь, но человек может выдержать бесконечно многое.

Когда ночью выпустили в коридор «по своей надобности», я была бесконечно счастлива, что могу взять кружку воды — як ней припала и выпила всю. Невозможно высказать, какое это жуткое ощущение, когда хочется пить. (Мама перестала читать и прибавила: «Эту воду я помню. Она была в ведре, стоявшем в туалете. И до чего же противная! Наверняка зачерпнули в первой попавшейся канаве. В серо-зеленой воде плавали куски льда, но ужасно хотелось пить, и я ее пила».)

Второе, и самое скверное, что все время лежишь и боишься, что вот-вот начнут выкрикивать всякие гадости! (Опять

- 259 -

пояснение: «Да, мы ехали вместе с бандитками, которые нормально и говорить не умели. Одни грубости. В соседнем купе были немки. Те говорили по-немецки. Они, так же, как и мы, не были никакими преступницами».) В первые дни хотелось умереть — казалось, невозможно все это выдержать до конца. Но ко всему привыкаешь. Потом я даже умела отбрить конвоиров с их ехидными вопросами. Однажды меня вызвали из купе и приказали мыть пол, причем для охранника это было большим разочарованием, когда у меня лицо не вытянулось, а наоборот просияло. Он все-таки хотел меня уязвить, спрашивает: ну как, нравится мыть полы? — а я отвечаю с улыбкой, что всю дорогу как раз об этом мечтала, мыть полы — мое любимое занятие. (Мама смеется и с видом победительницы припоминает их диалог: «Этот меня спрашивает: «Наверно, хата и корова у тебя была?» Тоже мне, эталон богатства! Нет, сказала, как отрезала, — пианино было! Он, должно быть, не знал, что это такое. Охранник всячески ко мне придирался. Раз взялся проверять мой чемоданчик, не спрятано ли там чего запрещенного. А что там могло быть — немного тряпок и другие мелочи».)

С ума можно сойти, когда едешь в таких условиях Я страшно досадовала, что у меня так много вещей, — я и поднять-то их почти не могу, а надо нести самой от поезда до машины, целую вечность; чуть не потеряла сознание — хорошо, милиционер отнял у меня груз и заставил мужчин нести его. (Мама вздыхает: «Наверное, увидел, что я ковыляю из последних сил. Чемодан досталось нести одному немцу. У него был с собой аккордеон. Он руки обмотал тряпками, чтобы не обморозить, а то как же он будет играть на аккордеоне. Потом в машине мне пришлось сидеть у него на коленях — даже стоять было негде».) В обморок упасть я не хотела, при виде моей слабости они бы только радовались. В машине опять ехали на головах друг у друга. Привезли нас в тюрьму,

- 260 -

и вот тогда мы добрым словом вспомнили рижскую тюрьму, она против здешней — прямо дворец; что уж говорить о рижском обществе и здешнем, где кроме пятиэтажного мата ничего не услышишь. Ты никогда себе не сможешь представить, каково это... («Страшно! — вздрагивает мама. — В Риге мы были в одной камере с другими ссыльными, все достойные люди. А там — среди воров и бандитов».)

3 февраля 1950 года.

Я в полном отчаянии. Находиться среди этой публики, которая чувствует себя здесь как дома, которая только и знает, что ругаться, воровать и т. д. — просто невозможно. Писать тебе письмо я не могу потому, что как только эта банда увидит в моих руках бумагу, все окажутся тут как тут и станут рвать этот листок каждый в свою сторону. Теперь чувствую, что впрямь вот-вот сойду с ума, если ничего не изменится. Может случиться, что украдут все до последнего, что нас обоих с Илгой убьют и т.д. Мы ни на миг не оставляем свое место — одной из нас надо сторожить. Эти вокруг только и ждут, чтобы вещи остались без присмотра, обчистят в одну секунду! Была у начальника — просила, чтобы перевели в пересыльную камеру. Обещал. Если выдержу до того, как переселят в другую камеру, может быть, останусь жива. Невозможно описать мое теперешнее самочувствие. (...) Мне раньше и в голову не приходило, что в мире есть люди, подобные моим сокамерницам, и если бы кто рассказал, я бы не поняла. Живу в постоянном страхе и шоке.

4 февраля 1950 года.

Все еще остаемся тут, и нет ни малейшей надежды, что скоро уберемся. Есть — и то приходится тайком, иначе на кусок набросятся всей ордой. (...) Сейчас даже Колпашево кажется мне сказкой, и все, что с ним связано, так далеко, так недостижимо — не верится, что когда-нибудь туда доберусь.

- 261 -

5 февраля 1950 года.

Сегодня воскресенье и восьмой день, как нас увезли из Риги. Сегодня ты обещал меня навестить, если бы я была в Риге. Опять мысленно представила себе, как троллейбус проходит мимо тюрьмы и как ты в нем едешь. Теперь единственное, что осталось от моей жизни, — это воображаемая встреча с тобой в Колпашеве. Которая, может быть, так и останется моей мечтой, потому что ты, возможно, уже скоро меня забудешь.

7 февраля 1950 года.

Вчера вечером через тюремное окошко увидела городские дома. Так как в Куйбышеве тюрьма со всех сторон окружена горами, можно хорошо видеть через окно здания, стоящие на склонах. Это большие, красивые трех- и четырехэтажные каменные дома, в которых наверняка живут счастливые люди. (Взгляд мамы становится мечтательным: «В сравнении с нами они уж наверно были счастливы. Я людей не видела, только огни, они мерцали, точно звездочки. Я думала: люди сидят за столом, ужинают, нормально живут. Насколько там в России люди тогда могли жить нормально — но по сравнению с нами это была другая жизнь».)

22 февраля 1950 года

Вчера был такой день, что вообще невозможно описать. В моей камере почти все такие же, как я, и только семеро из воровской шайки. (Мама объясняет: «Всех, таких же как я, согнали в одну камеру. Не помню точно, сколько нас было, но много, не хватало места всем улечься. Мы к тому же боялись приближаться к воровкам, занимавшим середину камеры. Приткнулись на полу у стенки».) За стеной были «мальчишки» — 170 человек от 12 до 18 лет. Утром они начали ломать стену, и некоторых посадили в карцер. Это их так разъярило, что они выломали дверь, все надзиратели

- 262 -

сбежали. Мы оказались брошены на произвол судьбы. (Мама сызнова переживает тогдашнее потрясение: «Они проломили стену! Взяли доски от нар и дубасили, пока стена не развалилась, Хорошо, никого не прибило. Только опрокинуло парашу. Вломились они, большинство мальчишки, в длинной, не по росту, одежде. Женщины постарше, русские актрисы, посоветовали нам намазать лицо чем попало и закутаться в тряпье. Так мы и сделали».) Наконец один охранник отомкнул двери и крикнул, чтобы мы быстро выходили. Мы все еще спали, можешь представить, какая поднялась паника. У меня руки тряслись, ничего не могла с ними поделать. Конечно, одни выскочили наружу, другие не успели, и так нас застали парни с этими досками, выломанными из лежаков. Нас они не тронули, им хватило тех семи воровок, но до чего же я испугалась! В конце концов мы выбрались из камеры и так остались живы и здоровы. («Мы в тот раз спали на верхних нарах. Когда эти вломились, мы спрятались в соседней камере. Воровок так обработали, что они долго ходить не могли».)

26 февраля 1950 года.

Все еще сижу здесь. Вчера под утро видела тебя во сне. Давно ты не появлялся в моих снах — наверно, уже совсем не думаешь обо мне. Ты мило, мило склонился ко мне и сказал: «Лигиточка, думаю, нам обоим лучше было бы жить в деревне». Я молчала, прикидывая в уме, как оно будет, и решив, что мне это подходит, радостно отвечала: «Да, я тоже так думаю».

8 марта 1950 года.

Сегодня я уже второй день в Новосибирске. Пять дней провели в пути. На этот раз дорога не была такой трудной, нас в купе было всего десять человек. Ясно, без слез опять не обошлось, хотя я так отупела, что не могу больше и

- 263 -

плакать. (Мама оторвалась от дневника. «Как переезжать, так я в слезы. Среди ссыльных была одна русская артистка. Она меня утешала, глядя по голове: все уладится, все уладится! Что там могло уладиться?») Если кто меня обидит, я отвечаю так язвительно, что он умолкает. Въехали в Новосибирск около шести вечера. Так больно было смотреть сквозь решетку на красивый вокзал, с которого без малого два года назад я уезжала счастливая, полная надежд, уверенная, что никогда не вернусь. (Мама плачет.) Конечно, я и сейчас не совсем потеряла надежду, что этот вокзал однажды снова увидит меня счастливой... Сейчас опять тюрьма, и там я буду ужасно скучать по своей мамочке. («А мамочка уже месяц как умерла», — всхлипывает моя мама.) До нее всего 600 км. В Куйбышеве мне было легче, я тогда примирилась с тем, что мама далеко. Здесь по-другому. Каждый день жду, что вызовут тех, кому в Томск; оттуда уж не знаю как, пароходы пойдут только в середине апреля. Так хочется написать письмо маме, я не могу ей

сказать, что я здесь, но хотя бы просто заполнить целую страницу словом «мамочка». Сегодня 8 марта. В прошлом году у нас на работе был «бал» — сегодня остались только воспоминания, но и то хорошо! Может быть, и все остальное, на что надеюсь, в конце концов превратится в воспоминания».

Продолжения у дневника не было. После трех месяцев пребывания в обществе бандитов и воров маму охватила апатия. Она больше не вела дневник, и все пережитое в Латвии, все с ней связанное, и жених в том числе, казалось вовеки недостижимым видением, никак не связанным с ее теперешней жизнью. Только мысль, что скоро она увидится с матерью, давала ей силу выдержать. В Новосибирской тюрьме ей приходилось несладко, но в Томске, где Лигиту отделяли от мамы каких-нибудь триста километров, тоска сделалась нестерпимой. Мир Лигиты все более ограничивался

- 264 -

стенами камеры, где два несоединимых общества — цивилизованное, культурное и криминальное — обитали вместе. Пару раз Лигита в грустную минуту заносила в записную книжку слова только что услышанной песни. Чем-то задели ее банальные строчки, сложенные каким-то завсегдаем тюрьмы:

Раз в тюрьму я прихожу,

Все сидят и я сижу,

Потому что без тюрьмы

И ни туды, и ни сюды.

И дальше — на мотив еще одной популярной в то время советской песни:

Первым делом, первым делом на допросы,

— Ну, а лагеря?

— А лагеря потом!

На той же самой странице записаны чудесные стихи Александра Пушкина:

Я вас любил. Любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем...

В конце апреля лед на Оби наконец прошел, и началась навигация. Присланных по этапу завели на борт большого судна, чтобы везти в места заключения и жительства. В первый раз с 7 декабря, дня задержания, за Лигитой не присматривал вооруженный охранник. Ей, как и другим, не возбранялось ходить по палубе, стоять у борта или сидеть на любом свободном месте. Лигита смотрела в воду, видела краем глаза и деревни по берегам, уплывающие назад. Каждый пройденный километр приближал ее к матери. Очень хотелось вымыться — после тюремной бани прошла неделя; она представляла себе чудесную картину: мама наберет ведро дождевой воды и вымоет ей волосы. «Мой мне, мама, волосы

дождевой водой...», — тихо напевала Лигита. Всего один день отделял ее от матери, от надежного убежища.

В Колпашево пароход прибыл после обеда. Лигите приказали сойти. Какое-то время она стояла на пристани в растерянности — ждала, что подойдут конвойные и поведут дальше. Не подошли! Тогда моя мама осмелела, прошлась и в одну сторону, и в другую, чтобы проверить — не догонят ли, не крикнут ли: «На место!» Никого. Наконец-то можно было идти по улице без конвоя. Ну, конечно, первый заход в Колпашевскую комендатуру — зарегистрироваться, доложить: прибыла на место поселения. Просмотрев бумаги, что-то там записав в учетную книгу, комендант уведомил, что Лигите Дрейфелде предстоит жить в Колпашеве. «Как в Колпашеве? — изумилась она. — Я должна ехать к моей маме, в Тогур». Наступила тишина. Затем комендант, явно испытывая неловкость, с усилием произнес: «Так вы не знаете, что ваша мать умерла?» Лигита не поняла. Комендант повторил еще раз, уже с раздражением: «Ваша мать Эмилия Дрейфелде умерла 5 февраля».

Лигита не помнила, как оказалась на улице. Мамочки больше не было. Она осталась совсем одна. Через несколько месяцев, во второй половине лета, Лигита в очередной раз собралась на кладбище, к Эмилии. Она бывала там часто. Как положено в воскресный день, моя мама принарядилась; в руках у нее был букетик полевых цветов, собранных по пути. Навстречу попались знакомые парни, латыши. Лишь одного она не могла припомнить — значит, новенький. То был Айвар Калниетис, незадолго до того вместе с матерью перебравшийся жить в Тогур. Айвару захотелось как-нибудь привлечь внимание красивой девушки, про беду которой он уже успел услышать.

«Барышня, — сказал он, — вы с цветами идете на свидание?» Лигита отрезала: «Нет, на кладбище к матери». И, отвернувшись, пошла дальше. Так на главной улице Тогура впервые встретились мои родители.

## **НЕ РОЖАТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА РАБОВ**

Поселок Тогур стоит на высоком берегу Оби. Здесь жили около тысячи человек, каждый второй работал на лесопильне. Местную власть представлял поселковый совет, находившийся в том же здании, что и милиция. Самым важным учреждением для ссыльных была комендатура, с которой приходилось иметь дело чаще, чем хотелось бы, — дважды в месяц регистрация, и каждый раз, когда возникала надобность съездить в Колпашево или еще куда-либо, следовало брать у коменданта письменное разрешение. Старейшие жители поселка обитали в отдельных бревенчатых домах с красивыми, украшенными деревянной резьбой окнами, в то время как вновь прибывшие, и в их числе ссыльные, ютились в принадлежавших лесопильне бараках. В центре поселка была площадь с громкоговорителями, укрепленными на столбах, из которых всем регулярно напоминали, какое счастье жить и трудиться под водительством великого Сталина, и советские песни, полные нескончаемого энтузиазма, в подтверждение этого гремели со столбов. От площади лучами расходились во все стороны улицы, заслуживавшие этого названия весьма относительно, ибо их проезжая часть весной и осенью превращалась в грязное

месиво; туда время от времени опрокидывали машину опилок, но это почти не помогало. Чего-чего, а опилок на лесопильне хватало; они скапливались годами, образуя многометровые завалы. Однажды старые опилки загорелись, и люди неделями напрасно старались их потушить. Так бывает, когда горят торфяники на болоте: верхний слой удается погасить достаточно быстро, но огонь уходит вовнутрь.

- 270 -

Здесь точно так же пожар бушевал в глубине, выжигая в горах опилок пустоты, в которые, бывало, как в пропасть, падали пожарники. Главная улица Тогуря казалась вполне ухоженной, вдоль нее тянулся даже дощатый тротуар. Весной, с таянием снегов, все улицы превращались в водные артерии, и передвигаться можно было только по мосткам, держащимся на деревянных чурбаках.

В отличие от колхозных, в здешних бараках, а также в центре Тогуря было электричество, скрашивавшее жизнь в темные зимние вечера. Можно было и почитать, и послушать радиоприемник, усовершенствованный Айваром. Каждый раз, когда в программе московского радио упоминали о Латвии и Риге или звучала латышская мелодия, мои родители и Милда слушали в глубоком волнении, желая, чтобы эта, хотя бы и опосредованная, связь с родиной никогда не кончалась. Хорошо зная, что Ригу не поймать, мой отец в грустную минуту механически крутил ручку радиоприемника, в надежде, что случится чудо и издали раздастся: «Говорит Рига»... Еще одно место, вокруг которого витала аура надежд и чаяний, была почта; сюда приходили посылки и письма из Латвии, бывшие единственным надежным источником новостей. После отмены карточной системы<sup>227</sup> в магазине стали появляться невиданные прежде товары — обувь, одежда, металлическая посуда, позднее и отрезки материи. Те немногие, у кого были деньги, могли даже заказать товары по почте, выбрав их по каталогу «Посылторга». Так моя мама обзавелась швейной машинкой, с помощью которой шьет и сегодня. В магазине продавали также испеченные в местной пекарне кирпичики черного хлеба, кисловатые на вкус, и покрытые сахарной глазурью твердые пряники — главное лакомство моего детства.

Мою бабушку неудержимо влекла к себе поселковая больница. Там был и операционный зал, и родильное отделение,

<sup>227</sup> В декабре 1947 года постановлением Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) была отменена карточная система и осуществлена денежная реформа. См. Latvijas PSR vēsture (История Латвийской ССР) / LPSR ZA Vēstures inst. — 2. sēj. — Rīga: Zinātne, 1986. — 248. lpp.

- 271 -

там работали врачи, фельдшеры, медсестры. Милде так хотелось снова стать сестрой милосердия, но свободных мест не было, а если бы и были, предпочтение отдали бы местным уроженцам. Позднее, когда одну из медсестер послали на курсы усовершенствования в районный центр, Милде посчастливилось, ее взяли медсестрой в больницу на пару месяцев. За это время моя бабушка завоевала безграничное доверие врачей и дружбу других медицинских сестер.

Социально наиболее значимым местом в Тогуря был клуб лесопильни. На октябрьские праздники и первого мая там проходили торжественные заседания, ораторы с чувством рассказывали о неустанной заботе Сталина и руководимой им партии об их благосостоянии. По

выходным в клубе проводились культурные мероприятия, молодежные вечера танцев с ухаживаниями в принятой здесь манере и выпивкой из захваченных с собой бутылок браги или самогона. Молодые латыши на танцы ходили редко, вместо этого устраивали вечеринки у кого-нибудь на дому. В клубе регулярно показывали советские фильмы: партия считала кино самым мощным и массовым средством промывания мозгов и заботилась о том, чтобы даже в самые глухие уголки Советского Союза заглядывала кинопередвижка. Перед сеансом непременно показывали киножурнал с политическими новостями полугодовой давности. Затем следовал долгожданный фильм, предлагавший советский вариант «голливудской мечты» — на экране появлялись разряженные, только что из парикмахерской колхозницы и работницы с наманикюренными ногтями; ударный труд открывал им дорогу в Москву, приносил признание и славу.

Лигита и Айвар поженились в Тогуре в мае 1951 года. На невесте был стильный костюм — шерсть жоржет, пошитый еще в Латвии. Жених был одет поскромнее — в куртке-штормовке на «молниях» и темных брюках, выменянных

- 272 -

на рижском рынке. Угощение королевское — жареный картофель и манная каша с сахаром. Вместо шампанского на свадьбе пили «крюшон»: смесь пива с сырыми яйцами. Гостей не было — день свадьбы держался в секрете от местных латышей. Вечером, когда стемнело, Айвар и Лигита пошли за приданым невесты (она жила у подруги): забрали две простыни, одеяло, две табуретки, чайник и кастрюлю. В первую брачную ночь в ногах у молодоженов спала свекровь — она бы с радостью оставила молодых наедине, да некуда было податься.

Воспоминания о свадебной церемонии всегда вызывали у моих родителей приступ веселья. Когда они застенчиво сообщили секретарше поселкового совета о своей надобности, та попросила обождать: сначала нужно зарегистрировать в списке домашнего скота козу одной старушки. Совершив этот важный акт, она обратилась к таинству брака. Но незадача: начальник уехал, печать заперта в сейфе, а потом, у нее нет опыта составления такого документа, как свидетельство о браке. Правда, столько-то она понимала, что брачный союз не должен регистрироваться там же, где коза, пригласила молодых людей в кабинет начальника. В книге записей актов гражданского состояния появилась запись бракосочетания Лигиты Дрейфелде с Айваром Калниетисом, однако никакого документа, удостоверяющего это событие им не дали. Не были произнесены и помпезные слова: «От имени Союза советских социалистических республик объявляю вас мужем и женой», церемониальный обмен поцелуя также не состоялся. Когда мои родители выскочили на улицу, на них напал неудержимый смех, не отпускавший вплоть до комнатки в бараке, где их ожидала Милда, настроенная торжественно. Но когда молодые наперебой начали рассказывать ей о козе, печати и прочих пертурбациях, она присоединилась к веселью, присовокупив свои комментарии.

- 273 -

По закону новобрачным полагались три свободных дня, но Айвару их не дали, так что Лигита свой недолгий медовый отпуск проводила почти в одиночестве.

После первого неудачного разговора с Лигитой Айвар снова встретил ее осенью на вечеринке в одном латышском доме. С тех пор они начали видаться, и местное латышское общество, затаив дыхание, следило за развитием этого романа. Сближение Лигиты и Айвара вносило в

однообразную Тогурскую жизнь романтическую интригу, какое-то время служившую главной темой разговоров. Подлинные или выдуманные подробности передавали и обсуждали на все лады подружки Лигиты, новости этого рода заменяли десерт на семейных обедах или на воскресных встречах земляков. Из Тогура новость долетела и до Колпашева, тамошние латыши добавляли свою лепту в обсуждение лучших и других свойств характера нашей пары. От этого, так сказать, коллективного творчества больше всего страдала моя бабушка, которой знакомые приносили самые противоречивые сведения, то превозносящие, то чуть ли не поносящие нареченную сына. Наконец, Мидда решила поговорить с сыном, спасти все, что еще подлежит спасению, помочь во всем, в чем помощь возможна. Из пылких объяснений сына Милда уяснила, что Айвар переживает первое глубокое чувство, а потому, подавив глубокий вздох по поводу сыновьей молодости и возможного несовпадения характеров, моя бабушка приготовилась познакомиться с Лигитой и принять ее.

От «первого взгляда», которым обменялись мои родители, до их бракосочетания оставалось полгода, это время оба провели в романтической дымке и при необыкновенном духовном подъеме. Оба, словно в опьянении, видели один в другом все свое будущее, старательно изгоняя из подсознания страшные слова «сослан навечно» и обреченность, с

- 274 -

ними связанную. Любовь сделала Лигиту и Айвара свободными, хотя всякая другая свобода была им заказана. Может быть, поэтому, рассказывая друг другу о себе, они почти не упоминали о Сибири, снова и снова возвращаясь к самой счастливой поре своей жизни — до того, как ЭТО случилось. В буйство светлых красок диссонансом врываются иногда отрывочные воспоминания Лигиты о голоде, тяжком труде, смерти мамы. Слыша их, Айвар понимал, насколько относительно были их с Милдой беды, казавшиеся непереносимыми, насколько тяжелее пришлось Лигите и другим, сосланным в 1941 году. В ту пору мой отец был еще слишком молод, чтобы понять, в какой мере пережитые страдания духовно травмировали Лигиту, оставив неизгладимые следы в ее личности и характере. Он неотрывно вглядывался в искрометную, строптивную, пленительную, озорную, жизнелюбивую Лигиту и думал о невероятном счастье, подарившем ему любовь такого чудесного создания. Айвар не сознавал, да и не мог тогда осознать, насколько внешнее впечатление обманчиво, не подозревал, сколь в действительности хрупкой, нуждающейся в защите будет всю жизнь моя мама; да, она будет жить жизнью взрослого человека, но никогда не обретет силу воли и целостность, присущие зрелости. Все это оставлено далеко. В Сибири.

Оглядываясь, видишь, что в жизни моих родителей как бы суммировались все негативные обстоятельства, чтобы в первый год их брака сделать взаимное притирание, приноравливание двух суверенных личностей друг к другу максимально трудным, почти невозможным. Они жили втроем — молодые и Милда — в бараке, в крохотной комнатухе, где две кровати и стол занимали все место. Возможности побыть наедине у Айвара и Лигиты почти не было: Милде не удавалось найти работу, а сколько же можно ходить в гости? — она почти всегда была дома, сидела на кровати или у стола,

- 275 -

ночью — спала на соседней кровати. Рабочий график тоже не позволял им бывать вместе. У

Айвара работа была трехсменная, у Лигиты — в две смены. Когда один шел на фабрику, другой возвращался домой. Оба были заняты на лесопильне тяжелым, изматывающим трудом. Особенно страдала от него моя мама, — таская десять часов подряд сырые доски, она к концу смены выматывалась, с трудом держась на ногах. Добравшись до дома, она хотела бы, чтобы кто-нибудь приласкал, пожалел ее так, как умела это делать Эмилия. Но этого не мог никто, даже добросердечная Милда, и потребность Лигиты в любви оставалась неутоленной. Иногда ей казалось, что Айвар не слишком-то внимателен к ней, о чем она тут же ему и сообщала. Может быть, подсознательно она ревновала: у мужа была мать, а у нее никого. В свой черед Айвара мучила внутренняя неуверенность. Да, он женился, но все еще не чувствовал себя настоящим мужчиной, главой семьи. На работе его подначивали, записные балагуры не упускали случая позубоскалить над молодоженом, а он был слишком юн, чтобы дать отпор или ловко отшутиться. Отношения женатых людей в Тогуре опять же были не похожи на те, что приняты в латышской среде. Местные на людях не выказывали ни уважения, ни особой любви к своим подругам, наоборот — точно старались выказать «своей бабе» всяческое пренебрежение; жены не слишком переживали по этому поводу, хорошо зная, что дома ее баламут запоет совсем иную песню. Пока мои родители были в обществе других латышей, Айвар держался так, как это принято в Латвии. Но стоило ему оказаться в компании местных, странный стыд сковывал его, и он в присутствии жены вел себя «как чужой». Это Лигиту особенно раздражало и обижало, она не понимала, как ее муж может вести себя «так глупо» вместо того, чтобы показать «неотесанным мужланам», что значит быть настоящим мужчиной. В то время мои родители часто ссорились, но всегда мирились и

- 276 -

в сладости очередного примирения теснее привязывались друг к другу, пока понемногу место одного и другого «я» не заступило «мы». Может быть, в других, более благоприятных условиях, это «мы» не укрепилось бы с такой силой, Айвар и Лигита так и остались бы каждый при своей правде, не ища мира и взаимопонимания. Но они были «сосланы навечно», ценность близости другого человека, любви от этого многократно возрастала — силы выдержать ссылку и бесправие можно было почерпнуть только в семье.

Лигите очень хотелось, чтобы у них была дочка; ей казалось, что тогда, наконец, появится кто-то, кто будет принадлежать ей безраздельно, для кого она будет единственной и незаменимой. Может быть, тут отражалось и неосознанное желание восполнить пустоту, образовавшуюся со смертью Эмилии. Айвар согласился, что дочка была бы даже лучше сына, но в глубине души не был в этом так уж уверен. Да и мысль о ребенке оставалась для него чем-то абстрактным и далеким — но раз жене хочется, пусть так и будет. И вот однажды поселковая врачиха подтвердила, что Лигита беременна и должна родить в конце декабря. Муж был на работе, и событие, которому предстояло изменить их жизнь, так же, как первая встреча с Лигитой, застигло отца на главной улице Тогур — он шел с работы, она на работу. Выслушав жену, Айвар даже не сообразил сказать ей что-нибудь ласковое, но, совершенно ошарашенный, пошел дальше. Ему как будто, полагалось испытывать радость и волнение, но вместо этого точно новый груз навалился на плечи. Ему стало боязно при мысли, что меньше чем через год на него ляжет ответственность за жизнь еще одного человека. Мой отец не чувствовал себя готовым к этому, все произошло слишком быстро.

В мечтах Лигита уже видела нарядно одетого ребенка, в светлой комнате протягивающего

ручонки навстречу матери.

- 277 -

И месяцы ожидания представлялись ей тоже временем, когда ей останется только отдаться заботам свекрови и мужа — тихие шаги, нежные слова... Реальность оказалась иной. По-прежнему каждый день нужно было идти на лесопильню, поднимать те же доски — беременность не считалась достаточной причиной, чтобы освободить женщину от тяжелого физического труда. Правда, дома ее старались щадить по мере возможности, побаловать чем-нибудь вкусеньким, но тяжесть, носимая под сердцем, лишала ее аппетита, и Лигита равнодушно смотрела на еду. Упадок сил — вот что мучило мою маму. Раньше, хотя и не без трудностей, она выдерживала до конца смены; дома, после недолгого отдыха, силы все-таки возвращались. Теперь отработать полную смену она была не в состоянии, а вернувшись домой, падала без сил и лежала в глубокой апатии. Много раз на работе она теряла сознание, пока, наконец, тамошняя медсестра не сжалась и не рекомендовала начальнику подыскать ей занятие полегче. Милда беспокоилась — невестка выглядела совсем больной! — но убеждала себя, что после первых месяцев организм приспособится к новой нагрузке и Лигита поправится. Случилось обратное — в июле дошло до того, что Лигита без посторонней помощи не в силах была выйти на улицу. На щеках горели красные пятна, приступами трясла лихорадка. Когда Милде в первый раз подумалось — а не туберкулез ли это? — она пугающую мысль отогнала. Это было бы чудовищно несправедливо и незаслуженно! Однако снова и снова Милда ощупывала лоб молодой женщины, мерила температуру, считала пульс. Она слишком хорошо знала коварную болезнь, муж Александр страдал ею. Сыну она не говорила о своих подозрениях. В конце концов симптомы показали настолько однозначными, что Милда поняла — нужно немедленно везти Лигиту в больницу в Колпашево. Моя мама была так слаба, что не в силах была даже сесть в автобус, — Айвару пришлось просить на

- 278 -

фабрике лошадь и повозку. Терзаясь мрачными предчувствиями, он повез жену в районный центр.

На счастье, это не был туберкулез. Всего лишь запущенный плеврит, который успешно вылечили. Врач предписал Лигите для скорейшего выздоровления особо калорийную пищу — масло, мясо, сахар; все это в 1952 году в Тогуре уже можно было купить. Чтобы наскрести рубли, необходимые для этого, Айвар и Милда снова перешли на картофельную диету. На первых порах Лигита ела, точно бы выполняя тяжелую работу и про себя удивляясь — как это получилось, что лакомства, о которых годами приходилось только мечтать, оставляют ее равнодушной. Однако понемногу вкусовые ощущения, а с ними и потерянные силы возвращались; в последние месяцы беременности моя мама выздоровела настолько, что ее собственное тело уже не препятствовало снам наяву, герой которых, ребенок, уже вовсю брыкался в животе. Лигита ни минуты не сомневалась, что у них будет дочь. Что бы она стала делать с мальчиком? Имя уже приготовлено. Сандра. Высмотрено оно было в романе Теодора Драйзера «Американская трагедия» — то была одна из немногих изданных в Латвии книг, переходивших в латышской общине из рук в руки. Мама ее читала и перечитывала, мысленно переносясь в тот мир, где женщины носили прекрасные платья, где мчались наперегонки легковые автомобили, где жили нормальной жизнью. Сондра! Это звучало так возвышенно, так недостижимо! Айвар, правда, возражал, что на его слух имечко уж очень непривычно. В конце

концов пришли к компромиссу — возвышенное, как бы требующее дистанции «о» заменили на «а», что и «облатышило» имя до Сандры. Мне самой имя очень нравится, кажется, что его ритм и определенность хорошо сочетаются с моим твердым, решительным характером.

- 279 -

В 1952 году с момента окончания войны миновало семь лет. Сталин продолжал террор против своего народа, во имя победы коммунизма люди по-прежнему влачили рабское существование, работая сверх всяких сил; уже у второго поколения после революции была отнята надежда когда-либо жить в условиях, достойных человека. И все-таки в Тогуре были заметны первые улучшения. Мои родители уже не голодали. Зарплату теперь выдавали регулярнее. Айвар освоил специальность электрика, то была ответственная и по тем временам довольно хорошо оплачиваемая работа. Беспокоясь об оставшихся в Латвии и не вылезавших из нужды Матильде и Арнисе, мой отец даже мог выкроить сотню-другую рублей и послать им. Большая часть сосланных, видимо, примирилась с мыслью, что еще многие годы придется провести в этом краю, люди стремились устроиться поосновательней. Обзаводились живностью, сажали картофель и капусту, служившие немалым подспорьем; главной же мечтой каждого ссыльного был свой дом: лесопильный завод начал выделять своим работникам участки земли для застройки. Подал и Айвар заявление на такой участок. Мои родители понимали, что это — единственная возможность вырваться из жалкого барака и жить своей семьей, не вдыхая ароматы соседского быта и не слыша каждое слово, сказанное за перегородкой. Для моего отца это было непростое решение: строить он мог, полагаясь лишь на собственные силы да посильную помощь нескольких друзей, — денег, чтобы нанять плотника, у моих родителей не было.

Милда слышала, о чем говорят и мечтают Айвар с Лигитой, и недоверчиво качала головой. Не переоценивает ли сын свои силы? Что он знает о строительстве? Но Айвар решился, и осенью перед моим рождением фундамент дома был заложен. Отец, правда, планировал еще до зимы подвести постройку под крышу, но это и в самом деле было чересчур:

- 280 -

слишком много энергии требовал долгий рабочий день на лесопильне, да и снег в том году выпал раньше обычного, так что строительство приостановилось. Выздоровев, Лигита с Милдой любила прогуляться до «строительной площадки» и осмотреть все сделанное. Над снегами поднялись уже четыре венца бревен, и мама счастливыми глазами смотрела на них. После долгих лет житья по чужим углам у нее наконец-то будет свой дом! По сравнению с теснотой барака двадцать пять квадратных метров будущей жилплощади казались чудом. Все было продумано: комната для них самих и свекрови, кухня, прихожая, — в воображении моя мама видела дом уже готовым. Белые, накрахмаленные марлевые занавески, на стене молдавский коврик Милды, у окна — стол, в углу детская кроватка. Будущий домашний очаг значил для нее так много, что затмил даже воспоминания об отчем доме, сохранявшиеся в сознании Лигиты как что-то нереальное и недостижимое, принадлежащее некоей другой жизни. Она не хотела оглядываться назад — жить нужно было здесь, сейчас и завтра.

Ее срок наступил незадолго до полуночи, когда моя мама была одна. В ту неделю Айвар работал в ночную смену, Милды тоже не было дома — ее на месяц приняли сестрой в

поселковую больницу. По роковой случайности, именно в ту ночь у моей бабушки было последнее дежурство. Почувствовав первые острые боли, Лигита перепугалась. Ей казалось, что так сильно болеть не должно и что вот-вот случится нечто ужасное. Как же она тосковала в ту минуту по матери! Эмилия знала бы, как помочь. «Мамочка! Мамочка!» — плакала она в полный голос. Хоть бы кто-нибудь оказался рядом, кто мог бы помочь, успокоить, сказать, что же делать. Боли все усиливались, по ногам потекло что-то липкое. Почувствовав это, Лигита совсем потеряла голову, ей казалось, что это кровь и она сейчас, сию минуту умрет. Она

- 281 -

начала кричать в полный голос, но в этом не было никакого смысла, никто ее не слышал. И вдруг пронзительный крик оборвался, моя мама умолкла, в бессилии съежилась на кровати и какое-то время сидела недвижно. Ждать было нечего и некого. Нужно собрать все силы и самой идти до больницы. Кое-как одевшись, она по снегу заковыляла туда. Пройти нужно было каких-то сто метров, но они казались бесконечными. В приемном покое медицинская сестра спросила, что ей нужно, но взглянув на пришедшую, поняла и тут же повела плачущую женщину в родильное отделение, передела в больничную рубаху и оставила в предродильном помещении. Была полночь.

На следующее утро, вернувшись с ночного дежурства и не найдя невестку дома, Милда в страшном волнении поспешила обратно на работу. Она была почти уверена, что там узнает о рождении внука. Но нет, роды еще не закончились. Бабушка упростила, чтобы ее впустили в родильное отделение, что из опасения инфекции было строжайше запрещено. Уже в коридоре слышались пронзительные крики невестки. Врач успокаивала встревоженную Милду Петровну: все кончится хорошо... Однако, как ни была моя бабушка закалена, сталкиваясь на протяжении многих лет с чужой болью, слышать Лигитин неузнаваемый, дикий голос она была не в силах. Она повернулась и выскочила на улицу. Ни нужно было бежать навстречу сыну, к лесопильне. Бессвязно и взволнованно Милда рассказала Айвару, что все началось около полуночи, что еще неизвестно, как оно будет, что роды трудные. Оба чуть не бегом кинулись в больницу. Шли часы, а все оставалось без изменений. Мой отец как введенный кружил около больницы. Невыносимо было тать, что там, за бревенчатой стеной, мучится его любимая Лигита, и помочь нельзя ничем, даже подержать жену ш руку, сказать ласковое слово, успокоить он не может.

- 282 -

Снова и снова мой отец стучался в двери родильного отделения, но ответ был прежним: еще нет, ждите.

Роды продолжались всю ночь и затем до полудня. Между двумя волнами боли моя мама пыталась прилечь, но тут же вскакивала на ноги снова — боли возвращались, и переносить их было легче, если ходить взад-вперед. Крик тоже помогал, от него все тело напрягалось и напряжение как бы приглушало боль. Это никогда не кончится, думала Лигита. Иногда она спрашивала, который час. Прошло восемь часов! Потом десять — и ничего не изменилось. Только боль сделалась уже такой, что Лигита не могла устоять на ногах. Моя мама ухватилась за спинку кровати, перед глазами плыли черные круги. Голос от крика осип, и каждый новый крик все больше походил на хрипение. Врач говорила что-то об узких, неразвитых бедрах, не позволяющих ребенку появиться на свет<sup>228</sup>, но ее слова почти не доходили до сознания Лигиты. Она стремительно теряла силы и временами уже впадала в беспамятство. Акушерка, пытаясь

привести ее в сознание, несколько раз ударила по щекам, но и это помогло лишь на миг. Врач поняла: дело принимает опасный оборот, нужно действовать спешно. Ножницами она в нескольких местах разрешила шейку матки и сильными движениями рук вытолкнула плод. Так в 13 часов 30 минут 22 декабря я появилась на свет. Услышав мой крик, мама слабым голосом спросила: «Кто?» Узнав, что дочка, довольная и счастливая уснула тут же, на родильном столе.

Лигита проснулась в постели. «Дочка, у меня дочка», — думала она, улыбаясь и с нетерпением ожидая, когда ей принесут ребенка. Так хотелось хорошенько рассмотреть новорожденную, ведь в тот момент, когда Сандрочка только-только появилась на свет, ей было не до того. Вошла акушерка, справилась, как она себя чувствует. Лигита на

[228](#) Зачастую постоянное голодание оказывало пагубное воздействие на репродуктивные органы девушек: формирование тазовых костей, яичников, матки. Эта тема настолько болезненна, что женщины, вернувшиеся из ссылки, избегают касаться ее в своих воспоминаниях. Точно так же они умалчивают о случаях сексуального использования, бывших неотъемлемой частью лагерной жизни.

- 283 -

самочувствие не жаловалась — недавних мук как не бывало. От акушерки моя мама узнала, что в полночь к ней в первый раз принесут ребенка покормить. И вот наконец-то подошло время их первой встречи, Лигите в постель положили маленький, завернутый в белое сверток, из которого выглядывало крохотное, красное личико. «Сандрочка», — повторяла мама, погружая взгляд в голубые глаза своего ребенка. «Какие у тебя черные волосики! Мне это вовсе не нравится», — заволновалась она. Хотя и туго спеленутая, я умудрилась выпростать руку из-под пеленок. Мама нежно прикоснулась к ней пальцем, за который я немедля ухватилась с поразительной силой. Через шесть дней Лигиту выписали из больницы.

В тот день кроме меня в Тогуре родились еще два младенца, мальчики, — русский и немец. Моя мама часто думала о судьбе этих детей. Должно быть, семья немцев-ссылных теперь живет в Германии, сын получил хорошее образование и приличную работу. Если русский мальчик остался там же, в Тогуре или его окрестностях, его жизнь, скорей всего, столь же незавидна, как и тогда, в пятидесятые годы. Снимая фильм о судьбе сосланных в 1941 году детей, кинорежиссер Дзинтра Гека недавно отправилась в места тогдашней ссылки латышей. Снятые там кадры беспощадно показывают бедность и неведение, в каких продолжает жить уже которое поколение тогурцев. И точно так же, как во времена расцвета сталинизма, одураченные пропагандой люди твердо верят, что они живут лучше всех, а во всех бедах по-прежнему винят мировой империализм, наживающийся за счет щедрой матушки-России.

Когда жена вышла из больницы, мой отец отправился в поселковый совет, чтобы получить там мое свидетельство о рождении. После выполнения необходимых формальностей

- 284 -

комендант сказал: «Айвар Александрович, впредь 15 и 30 числа каждого месяца вам нужно отмечать свою дочь в комендатуре, — и смеясь, добавил: — Мы должны быть уверены, что она самовольно не оставила место поселения». Мой отец остолбенел. Ожидая моего появления, ни он, ни мать не сознавали горькую истину: их ребенок от рождения «сослан навечно». Тяжелыми шагами возвращался Айвар в барак. Он проклинал себя за легкомыслие: как можно было

поддаться иллюзии счастья и обречь своего ребенка на жизнь в Сибири! «Стервятники! Мерзавцы!» — бранился отец про себя. Придя домой, он взглянул на мою мать, сдвинув брови, и отчеканил: «Больше рожать рабов мы не будем!» У меня нет ни братьев, ни сестер.

Спустя два месяца умер Сталин.

- 287 -

### **ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ**

Дом моих родителей — единственный сибирский дом, оставшийся в моей памяти. Осенью 1953 года, когда он был готов, я уже подросла настолько, что, держась за мамину руку, могла переступить порог. Это моя мама всегда вспоминала с гордостью. Дом отец с матерью строили своими силами, не разделяя работы на «мужские» и «женские». Даже кирпичи для плиты и печки изготавливали сами из глины, накопанной тут же, в саду, и смешанной с песком. Для теплоизоляции использовали собранный на болоте и высушенный мох, которым забивали пазы между бревнами. Для внутренней штукатурки мама использовала коровий навоз пополам с глиной и, когда эта смесь затвердела, побелила стены. Вся мебель — стол, два стула, табуретки, кровати и шкафы — мой отец изготовил сам. Он также умело использовал свои «связи» в электроцехе лесопилки и добился того, что в наш дом, расположенный в той части Тогура, где еще не было электричества, ток провели. Пользу из этого извлекли и все остальные жители окраины, без всякого на то разрешения продлившие электролинию до своих обиталищ. Родители вырыли в саду колодец, чтобы в теплое время года не надо было носить воду на коромысле издалека. Зимой колодец замерзал, и единственным источником воды был снег, который зачерпывали ведрами, заносили в теплые сени и ссыпали в большую бадью — пусть тает. Пока снег был свежим, вода оставалась чистой и прозрачной, но ближе к весне сугробы темнели от сажи, принесенной ветром с соседней фабрики и печных труб; постепенно и вода в бочке мутнела, на дне бадьи

- 288 -

собирался осадок. В отличие от соседних домов, окна нашего украшали цветы в продолговатых ящиках — семена присылали друзья из Латвии. И дорожку от калитки до крыльца обступали цветы, вызывавшие изумление местных старожилов. Они не могли понять, зачем тратить силы на такие несъедобные и вообще ни на что не годные вещи, как цветы. При доме был небольшой огород, снабжавший нас овощами и картошкой. Земля в Сибири необычайно плодородна — посадив 150 килограммов картофеля, после короткого лета осенью накапывали 5 тонн. Хватало не только самим — каждый год родители откармливали большую свинью, так что мясо в доме не переводилось. Второй по значимости едой была кислая капуста, которую родители сами заквашивали в огромной 15-ведерной бочке. Бочка стояла в холодных сенях, и зимой, когда нужно было приготовить щи, топором вырубали кусок из смерзшейся массы. Подобным образом хранили и свежее мясо, запах которого был для нашего кота источником нескончаемых мук. Тонкими коготками он с неиссякающим оптимизмом царапал мерзлую тушу, но ничего, кроме ледяных крошек, пахнущих мясом, не добывал. Чтобы у ребенка всегда было свежее, питательное молоко, родители держали козу.

Наш дом сохранился в моей памяти белым, чистым и солнечным. Это ощущение отражает мир любви и защищенности, в котором я жила и царила. День мой начинался с громкого зова: «Бабушка!», возвещавшего домашним, что божество пробудилось. Мама и отец, правда, были

почти всегда на работе, поэтому на мой призыв обычно откликались бабушка и кот Минка, тотчас трусившие ко мне. Минка, более проворный, успевал вспрыгнуть на постель, чтобы вдосталь намурлыкаться и наласкаться, хотя и то и другое строго запрещалось. Лишь только белых занавесей, отделявших мою кровать от остального пространства, касалась бабушкина

- 289 -

рука, кот выскакивал из постели, как ошпаренный, и с умильным видом крутился тут же неподалеку. Бабушка грозила в его сторону пальцем. Кот, увы, не принимал угрозу всерьез, будучи семейным любимцем. Бабушка подавала мне прямо в постель кружку только что надоевшего, теплого козьего молока, я выливая его с удовольствием, радуясь белым усам, остававшимся над верхней губой; бабушка имела привычку добродушно подтрунивать по этому поводу. Когда ритуал утреннего туалета был закончен и завтрак съеден, наставал черед «добрых дел». В распоряжении «барышни» оказывались хлебные крошки и измельченные корки, оставшиеся от сыра, и она — то есть я — с крыльца кормила соседских кур. Заслышав мой звонкий голосок, Андреевна, владелица хохлаток, переходила через дорогу — поговорить с бабушкой. Приветливая, беззубая старушка, жизнь которой была нескончаемой вереницей испытаний и бед. Пятнадцати лет выданная замуж за пьяницу, она родила шестнадцать детей, из которых выжил только один, да и тот из-за алкоголизма отца оказался слабоумным. Когда беседа с соседкой бывала завершена, бабушка одевала меня, и мы отправлялись в магазин. По дороге я вступала в разговор со всеми встречными, при этом моя смелость и бойкая речь вызывали у них улыбку. Бабушка расцветала при каждом моем «мудром» изречении. Особенно мне нравилось в магазине — там можно было рассматривать множество интересных вещей и получить в подарок от доброй продавщицы тети Дарьи какой-нибудь леденец. В те дни, когда маме надо было выходить во вторую смену, она забирала меня к себе в постель, мы лентяйничали вместе, рассказывали друг другу сказки, которые сами же сочиняли. В моих действовала прекрасная Золушка, танцевавшая с принцем танго и буги-вуги, время от времени птичка приносила ей в клюве капроновые чулки, конфеты и еще что-нибудь столь же драгоценное. К концу сказки Золушка неизменно получала разрешение

- 290 -

вернуться в страну своей мечты — Латвию, которую я знала по рассказам родителей и книжкам с картинками, полученным оттуда.

Моя мама так и не свыклась с Сибирью. С наступлением первых позитивных перемен в жизни ссыльных она неотступно боролась за те мелочи, которые, по ее мнению, символизировали нормальную жизнь, противилась изо всех сил отступлениям от европейских норм в быту и в стиле одежды, навязываемым бедностью. Если уж надо было пить из жестяной кружки, она непременно подавала эту кружку на блюде, хотя бы тоже жестяном, ибо «в доме Дрейфелдов чашка без блюдца немислима». С улучшением условий жизни по меньшей мере в воскресенье на обед кроме кислой капусты и картошки был «десерт»: мусс — «манна небесная», ягодный кисель или хлебный суп, приготовленный из ржаной буханки. Моя мама ненавидела бесформенные стеганные штаны и «фуфайку», толстые платки и валенки, которых в рабочие дни была заточена ее женственность. Как только кончалась смена, она высвобождалась из чуждой оболочки, передевалась в одно из собственноручно сшитых платьев, надевала туфли, привезенные из Латвии, чтобы: снова почувствовать себя женщиной. Шить мама научилась в Сибири, когда в 1946 году была получена первая посылка из Латвии. Страдавшим от голода

Эмили и Лигите присланная одежда казалась слишком роскошной; из соображений экономии они отпарывали подкладку и шили из нее блузки, куртки и прочие необходимые вещи. В то время Лигита ничего не знала о кройке и шитье, но была полна энергии и на диво изобретательна. Уложив на пол свою другу Мару и обведя ее тело контуром, мама принималась кроить... Мало-помалу она стала шить настолько прилично, что получала даже заказы со стороны. Какими бы скромными ни были возможности Лигиты, она не сдавалась. И меня она

- 291 -

одевала согласно своим детским воспоминаниям и представлениям о том, что такое нарядное платье, приличное пальто с меховым воротником и муфтой. Глядя на старые фотографии, трудно себе представить, что на мне — наряд, перешитый из старых и заново выкрашенных отцовских брюк, а воротник пальто и шапка — из остатков шубы, выброшенных одной из наших соплеменниц. В отличие от местных младенцев, в грудном возрасте меня закутывали в пеленки — и сами эти пеленки вызывали изумление и уважение у Тогурских врачей и медсестер: наконец-то они встретили людей, соблюдающих предписанные умными книгами правила детской гигиены! Ежевечерне меня мыли в ванночке, что в тесноте барака было особенно нелегко, не говоря уж о горячей воде, для которой приходилось набирать и растапливать снег. Моя одежда всегда была свежеевыглаженной и чистой.

Когда в 1956 году пришла первая посылка из Канады от маминых братьев, моя мама приняла красивую одежду и обувь как нечто само собой разумеющееся. Ее не смутило и то, что единственным местом, где можно было показаться в новых нарядах, была главная улица Тогура; можно было, правда, съездить покрасоваться и в районный центр — Колпашево. Надев западные обновы, принарядив и меня, мама с высоко поднятой головой прогуливалась вдоль барачных, бревенчатых домов и дощатых заборов, озадачивая своим ни дом прохожих и любопытных, прильнувших к оконным стеклам. Могу вообразить, какой эффект произвел на поселковую публику мой комбинезон, одежда, которой практичные канадцы защищали своих детей от холода, — в то время такая вещь была новостью даже и в Европе. Вера моей мамы в цивилизованную жизнь и в чудо возвращения была иррациональна — ничто в окружающей действительности не давало повода для нее. Отторжение Сибири было заложено и Лигите глубоко в подсознании, импульсивно выявляясь

- 292 -

в словах и поступках, противоречащих тому, что диктовал разум. Меня всегда волновал до слез эпизод, ярко показавший всю силу маминой веры. Когда пришло время сделать мне прививку от оспы, она настояла на том, чтобы вакцину нанесли не на руке, а на ноге. Изумленной русской медсестре мама сказала: «Моей дочери понадобятся красивые плечи, когда-нибудь она будет носить вечерние платья».

Мое воспитание полностью возложили на бабушку — как уже сказано, мать и отец работали посменно, притом в разное время. Выходные были редки, да и те у них почти никогда не совпадали. Как все советские предприятия, Тогурская лесопильня участвовала в социалистическом соревновании, и после того, как однажды она победила во всесоюзном масштабе, решением начальства трудящиеся часто работали «добровольно» и по выходным, чтобы сохранить за предприятием почетное первое место. Мама считала, что бабушка меня

слишком балует и я со своим вечным «Сандрочка хочет, Сандрочке надо» заставляю плясать ее под свою дудку. Моя власть над бабушкой была так велика, что ради меня она отказалась от своей единственной слабости — курения. Когда я с комической серьезностью повторила услышанное от мамы — что у меня от дыма болит голова, бабушка погасила начатую папиросу и с улыбкой сказала, что не будет портить здоровье своей любимицы. Это решение бабушка выполнила и никогда больше не курила.

Я отличалась невероятным упрямством, мама пыталась его преодолеть — для моего же блага, — но безуспешно: я оставалась при своем даже после порки и стояния в углу. Сегодня я убеждена, что суровые воспитательные приемы имели прямо противоположный эффект — они меня закалили и научили защищать себя и свои взгляды. И — пробивать головой стену. Если даже я набивала шишки, стену иной раз удавалось прошибить.

- 293 -

Бабушка учила меня читать и писать «печатными буквами», что я и делала в четыре года довольно ловко, вслух каждую букву называя отдельно. Сам процесс письма мне так нравился, что однажды я своими каракулями исписала все тетрадки отца. Вместо ожидаемой похвалы за помощь в учебе я получила основательную взбучку: новые тетради достать было тогда довольно трудно. Ближе к Рождеству бабушка начала разучивать со мной праздничные стихи, строго наказав ничего не говорить родителям — пусть это будет для них сюрпризом! Конечно же, я не выдержала и похвасталась своими знаниями, что не помешало отцу с матерью в праздничный вечер «изумляться» и выражать надлежащий восторг. Первое Рождество, сохранившееся в памяти, окончилось для меня плачевно. Я очень обидела Деда Мороза, пришедшего к нам как раз в тот момент, когда бабушка ушла в хлев покормить поросенка. Дед Мороз только успел шагнуть из сеней в комнату, свет упал на его лицо, и оно показалось мне поразительно похожим на лицо моей бабушки. Я бросилась к нему и, дергая за бороду, принялась допрашивать: «Бабуля, зачем ты насовала себе в рот эту солому?» Дед Мороз так разобиделся, что, ни слова ни говоря, повернулся и пошел прочь, в растерянности, правда, оставив у нас мешок с подарками. Мои попытки оправдаться и даже слезы не помогли: Дед Мороз не простил обиду и больше у нас не появлялся. Каждый год я ждала возвращения чуда, твердо обещая вести себя хорошо; подозрительное сходство Деда с бабушкой по-прежнему не давало мне покоя, но из прагматичных соображений я подавляла в себе сомнения. В следующий раз с Дедом Морозом я встретилась через много лет в Латвии, когда он пришел с подарками к моему сыну Янчику. Значил, простил меня все-таки...

Товарищей по играм у меня почти не было — родители считали, что шататься по улицам без присмотра ребенку

- 294 -

опасно. Зато поселковая малышня, едва научившись ходить, высыпала на улицу и обитала там с утра до ночи. Как-то и я умудрилась вырваться из-под неусыпной бабушкиной опеки и бродила в стайке детей целый день, один из самых увлекательных дней моего сибирского детства. Мы забрели даже к болоту, бросали палки, соревновались в том, кто дальше пописает. Тогда-то я впервые заметила, что мальчики гораздо лучше приспособлены к этому виду спорта, ибо природа наградила их замечательным инструментом для достижения наилучших результатов. Мне это казалось несправедливым. На обратном пути мы задержались на какое-то время я у

перенаселенных бараков; там я забыла туфельки, добытые для меня с немалым трудом. С приближением к дому, я начала сознавать, сколько запретов нарушила и какая взбучка меня ожидает. Бабушку мое возвращение осчастливило, однако потерю единственных туфель скрыть от родителей было никак нельзя, и без розог не обошлось. Я не знала тогда, что родители ограничивали мои контакты с тамошними детьми еще и потому, что боялись моего «обрусения», впрочем, неизбежного, если бы ничто в их жизни не изменилось. С некоторой озабоченностью они убеждались, что я говорю по-русски так же свободно, как по-латышски. Хотя в речи ребенка еще не замечалось влияние русской фонетики, однако там и сям в ней мелькало «олатышенное» русское словцо. Мысль, что мне предстоит поступить в русскую школу и что моя латышская идентичность может оказаться под угрозой, мучила родителей подобно наваждению. Мне тоже — сегодня, когда я оглядываюсь в прошлое, кажется, что потеря национальной идентичности была бы худшим из того, что со мной могло случиться.

В моих сибирских воспоминаниях нет ни одного темного пятнышка, потому что мой мир ограничивался родительской любовью. Я не могла знать, что они чувствуют,

- 295 -

думая о нашем будущем. По местным стандартам, нашу семью можно было даже считать зажиточной. Родители хорошо зарабатывали, у нас был свой дом, теплая одежда, полные животы, но именно потому, что физическое выживание уже не отнимало все силы, отец и мать острее ощущали навязанную им несвободу и плоское однообразие своей жизни. Мои родители были молоды, им хотелось учиться, путешествовать, видеть мир, однако они были привязаны к глухому поселку, из которого нельзя без разрешения комендатуры выехать даже в ближайший, какой ни на есть, город. Единственный контакт с внешним миром возможен был с помощью радио, а единственные развлечения — кино и библиотека. В кино показывали приукрашенную всеми средствами советскую жизнь, картины полны были какого-то инфантильного оптимизма, но в них, по крайней мере, можно было видеть что-то отличное от окружения — Москву, Ленинград. В библиотеке книги были сплошь на русском языке, причем — тщательно отобранные с целью воспитания советского человека в духе коммунистических идей, тем не менее мои родители много читали, это помогало расцветить серые будни. Даже газеты в Тогур доставлялись с опозданием в несколько дней, но это, собственно, и не имело значения — так и так происходящее в мире казалось далеким и почти нереальным. Какая разница, случилось то-то и то-то вчера или неделю назад! Это тусклое существование засасывало, приземляло. Будничная серость перемалывала, точно жерновами, надежду вернуться в Латвию, которая постепенно обращалась в бескровный фантом, загнанный в самый дальний уголок сознания, чтобы тоской и болью неисполнимых желаний не терзало сердце, хоронящееся за броней равнодушия.

Смерть Сталина 5 марта 1953 года не пробудила в моих родителях и других ссыльных особых надежд: в их сознании

- 296 -

террор был связан не с какой-то конкретной личностью, а с коммунистическим режимом в целом. Смерть одного человека ничего не меняла в системе, на его место придут другие и с прежней жестокостью продолжат борьбу с врагами коммунизма. Близость этой смерти была ощутима, — весь день по радио транслировали скорбные мелодии, передавали бюллетени о

состоянии здоровья вождя, зачитывали письма рабочих, колхозников, представителей социалистической интеллигенции, желавших дорогому товарищу Сталину выздоровления и с жаром бравшихся за изучение его новейшей гениальной работы «Экономические проблемы социализма в Союзе ССР». В Тогуре весть о «тяжелейшей потере», понесенной «партией, советской страной и трудящимися всего мира» узнали по радио 6 марта, так как «Правда» в траурном обрамлении пришла в поселок, как всегда, с опозданием. Было тревожно, — годами слыша о неустанных заботах отца народов и его борьбе с внутренним врагом, многие теперь чувствовали, что осиротели. Точно так же, как русские крестьяне верили хорошему царю, ничего не знающему о злоупотреблениях своих чиновников, большая часть советских людей пребывала в наивном убеждении, что только благодаря Сталину их не постигли еще худшие несчастья. Кто знает, что принесет завтрашний день, теперь они беззащитны перед злобными силами, которые отец народов так умело разоблачал. Многие женщины в поселке рыдали и громко причитали по старинному обычаю: «На кого ты нас покинул... Куда нам деваться теперь, сиротинушкам?» Театральность этой преувеличенной скорби скрывала за собой растерянность и неведение. А кроме того — наверняка ведь кто-нибудь да следит за тем, кто как скорбит, потом, глядишь, и за это отвечать придется. Лица ссыльных замкнулись и приняли выражение таинственное — при желании его можно было принять за оцепенение от горя. В публичных местах кое-кто пустил

- 297 -

слезу, и даже среди своих выражать подлинные чувства никто не спешил. Все «скорбели», все почему-то знали, как это делается.

Тогда же на лесопильне созвали первый траурный митинг, на котором директор зачитал официальное сообщение партии и правительства о смерти Сталина. Затем на трибуну поднялись секретарь парторганизации, председатель профсоюза, несколько передовиков производства, какой-то пионер. Они «с выражением» читали по бумажке о неутешном горе, постигшем всех и каждого и все человечество с уходом «величайшего гения современности», «королея марксистской науки», «генералиссимуса, славнейшего полководца всех времен», «лучшего друга трудящихся всех стран», «надежды угнетенных». Но, как ни велика наша скорбь, ей нельзя поддаваться, ибо следует быть начеку и дать отпор проискам мирового империализма, только и думающего, как обернуть горе советских людей себе на пользу. А потому все изъявляли решимость еще теснее сплотиться вокруг коммунистической партии, вдохновляющей на новые трудовые победы. Только так можно убедить товарища Сталина, что он вечно будет жить в наших сердцах. В заключение участники траурного митинга единодушно приняли письмо Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета и Совету Министров СССР, в котором обещали родной партии выполнить план досрочно и сохранять классовую бдительность. Подобные письма принимались повсюду и непрерывно стекались в Москву. Впервые с времен почти незапамятных письма трудящихся были адресованы не Иосифу Виссарионовичу, что казалось почти противоестественным.

После митинга моего отца вызвал к себе начальник электроцеха: есть серьезный разговор. «Айвар Александрович, — сказал он, — тебе доверена ответственная задача —

- 298 -

установить дополнительные репродукторы на площади, чтобы каждое слово, сказанное на

траурном митинге в Москве, было слышно всем до единого! Если что-нибудь выйдет не так, ты первый будешь отвечать!» Мой отец слушал начальника, и мрачные опасения томили его — слишком ясно было, какими последствиями грозит ему и семье малейшая ошибка при трансляции траурной церемонии. Ну почему так вышло, что именно на него взвалили эту ответственность? По схемам классовой борьбы и ее пропаганды выбор начальника выглядел странным: мой отец как-никак был политическим ссыльным, для которого похороны Сталина могли стать подходящим случаем обнаружить свою вражескую суть и заняться саботажем. Однако в жизни не все происходило так, как в советских кинофильмах и литературных «шедеврах». Айвар — лучший профессионал среди электриков предприятия, и это казалось его начальнику поважней политической бдительности — нужно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, чтобы самому не нарваться на неприятности. Этот незначительный эпизод прекрасно отражает лицемерие советского режима — словом и делом преследовать классового врага, но закрывать глаза, когда этот враг может пригодиться. Айвар прикрепил к ногам серповидные крюки, которые, как длинные когти, вонзались в деревянные столбы электропередач, и полез наверх. Вместе с другими электриками протянул радиопровода, подвесил громкоговорители и несколько раз удостоверился, что все работает безупречно. Теперь оставалось ждать послеобеденного часа 9 марта, когда предусмотрена была трансляция церемонии похорон вождя на весь Советский Союз<sup>229</sup>.

Около двух часов пополудни все жители Тогура, способные ходить, собрались на площади у памятника Сталину. Покрытый бронзовой краской стандартный гипсовый

<sup>229</sup> В Москве траурный митинг начался в 10.00. Между Москвой и Тогуром четыре часа разницы во времени.

- 299 -

слепок был типичным образчиком советской пропагандистской скульптуры, с небольшими вариациями: фуражка в руке или на голове, фигура в пальто или без него — такие же стояли в каждом поселке и городке. Задача была сделать вождей близкими и знакомыми народу. Мой отец наблюдал происходящее с высоты столба, на котором находился, чтобы устранить любую техническую неполадку или неожиданность в ходе трансляции. Прямая радиопередача из Москвы — случай для Тогура небывалый, и все, затаив дыхание, вслушивались в торжественный голос диктора Левитана<sup>230</sup>, рассказывавшего, как выглядит Красная площадь в траурном оформлении. Гроб с бранными останками Сталина был установлен на пушечном лафете у мавзолея Ленина и утонул в красных цветах. Разумеется, диктор ни словом не упомянул о страшной трагедии, происшедшей 7 марта, когда масса людей, желавших попрощаться с вождем, оказалась критической, и под натиском задних рядов началась давка, в которой множество людей погибли или были искалечены<sup>231</sup>. Когда на трибуну Мавзолея взошли члены Политбюро, начался митинг. Первыми выступили с речами «верные соратники» Маленков, Берия, Хрущев и Молотов, затем — «верные ученики», рабочие и колхозники, москвичи, ленинградцы, жители Гори и другие официально утвержденные скорбящие лица. Митинг длился почти два часа, и хотя было холодно, тогурцы стояли почти не переминаясь с ноги на ногу, сознавая, что случай особый, тут показать, что ты мерзнешь, было бы слабостью непростительной. Наконец, зазвучал траурный марш Шопена и диктор сообщил, что верные товарищи по борьбе — Маленков, Берия, Молотов и другие — подняли гроб с телом великого

учителя и несут его к Мавзолею. Ровно в двенадцать по московскому времени по всему Советскому Союзу завывали заводские сирены. К тем, что слышались из громкоговорителей, присоединился гудок местной лесопильни. Когда отзвучал гимн

[230](#) Голос Ю. Левитана в СССР ассоциировался с наиболее важными историческими событиями. Именно он 22 июня 1941 года зачитал сообщение о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Ему доверялись тексты самых значительных уведомлений партии и правительства.

[231](#) Точных данных о числе погибших и раненых нет. Сведения колеблются — от нескольких сотен до тысяч пострадавших. См. Э. Радзинский. Сталин. — Москва: Вагриус, 1997. — с. 622.

- 300 -

Советского Союза — «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил» — на пять минут в стране остановилось все: поезда, корабли, заводские станки, автомобили, люди. По радио слышны были лишь залпы кремлевских пушек. «Наконец-то. Этого похоронили», — подумал мой отец; ему, восседающему наверху, по крайней мере не нужно было делать скорбное лицо и опасаться тех, кто привык по глазам читать чужие мысли. Он испытывал несказанное облегчение — не будет никаких неприятностей, громкоговорители работали безукоризненно! Наконец-то можно спуститься со столба и идти домой.

Следующий день после похорон Сталина в Тогуре был уже точь-в-точь похож на множество предыдущих и ожидаемых впереди. До глухого угла почти не доходили отзвуки жестокой борьбы за власть, бушевавшей за кремлевскими стенами между «соратниками», «товарищами по борьбе» «верными учениками». Мои родители даже не замечали, что имя Сталина упоминается в газетах все реже, — взамен все чаще славил Ленина и всячески подчеркивали ведущую роль коммунистической партии. Главным наследником Сталина как будто считался Георгий Маленков, однако наряду с ним постоянно упоминались имена Лаврентия Берии, Вячеслава Молотова и Никиты Хрущева — это означало, что власть уже не была сосредоточена в одних руках, ею надо было делиться. В начале апреля в «Правде» появилось постановление о прекращении «дела врачей»<sup>232</sup> и оправдании некоторых других «несправедливо очерненных». Новости были восприняты ссыльными с недоверчивым интересом — значит ли это, что в их судьбе тоже что-нибудь изменится? Первым большим сюрпризом была безжалостная критика в адрес вчера еще всесильного министра государственной безопасности Берии на Июльском пленуме ЦК КПСС, где его называли «буржуазным перерожденцем» и «агентом

[232](#) «Дело врачей» было последней кампанией репрессий, начатой при жизни Сталина. Целый ряд видных деятелей медицины и члены их семей были обвинены в терроризме и шпионаже. Постановлением Президиума ЦК КПСС от 3 апреля 1953 года дело было прекращено и 3,7 человек реабилитированы.

- 301 -

международного империализма».<sup>233</sup> Пленум как будто отменил запрет на любые сомнения в абсолютной непогрешимости вождей, и когда в конце декабря Берию расстреляли, глухие надежды моих родителей и других ссыльных на перемены вспыхнули с новой силой. И другие события свидетельствовали: «что-то готовится». Разнесся слух, что надзорный режим смягчается, что некоторые заключенные в лагерях получили разрешение поселиться на воле.

Других освобождали досрочно с разрешением жить в ближайшем городе, работать и даже получать зарплату<sup>234</sup>.

Сюрприз ожидал и моих родителей: с 1 августа 1954 года им уже не нужно было отмечать меня в комендатуре<sup>235</sup>. До шестнадцати лет я была свободна! И им тоже не нужно было больше отмечаться дважды в месяц — регистрироваться в комендатуре теперь следовало раз в год, притом им разрешалось передвигаться без особого разрешения в пределах Томской области. Кто-то первым сообщил, что отменен Указ о «ссылке на вечные времена»<sup>236</sup>. Происходившее вокруг окрыляло. Разговоры ссыльных почти каждый раз начинались словами: «А ты знаешь...» — и следовал рассказ о каком-нибудь новом чуде, о котором слышал такой-то, а тот, в свою очередь, узнал от... Так подготавливался путь к возвращению. Наступила пора ожиданий, продлившихся три года, ожиданий тем более долгих, что ссыльные пребывали в полном неведении о том, что творится «там, наверху».

Слыша о переменах, многие снова сели писать заявления с просьбой освободить их от административного надзора. Моя мама тоже решила попытать счастья и отнесла в комендатуру бумагу, адресованную председателю Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову. В заявлении, датированном июнем 1952 года, она подробно изложила обстоятельства своей ссылки, в заключение обращаясь к вершителям судеб со словами: «В 1952 году у меня родилась

[233](#) Об аресте Л. Берии 26 июня 1953 года в прессе ничего не сообщалось. Узнали об этом только из информативного сообщения о состоявшемся 2—7 июля Пленуме ЦК КПСС, после которого в печати началась кампания критики Берии в наилучших традициях сталинизма. После шестимесячного следствия суд приговорил его к смертной казни; приговор исполнен 24 декабря 1953 года. «Дело Берии» помогло Маленкову и Хрущеву отделаться от опасного соперника в борьбе за власть, а также свалить на Берию и некоторых его «коллег» вину за репрессии, до времени не упоминая об ответственности Сталина.

[234](#) 27 марта 1953 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об амнистии, на основании которого освобождались лица, осужденные по политическим мотивам на пять лет и предпринимались меры к улучшению жизненных условий некоторых других категорий заключенных. См. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938—1975. — Т. 3. — Москва: Известия, 1976. - с. 409.

[235](#) Согласно постановлению Совета Министров СССР от 5 июля 1954 года с учета спецпоселенцев были сняты дети до 16 лет. См. Rieksinš J. 1941. g. deportācija Latvijā//Aizvestie. 1941. g. 14. jūnijs (Депортация 1941 года в Латвии // Увезенные. 14 июня 1941 года) // LVA. — Rīga: Nordik, 2001. — 19.1pp.

[236](#) Решением Президиума Верховного Совета СССР 13 июля 1954 года был отменен Указ того же Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года о «ссылке навечно». См. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. — Москва, 1993. — с. 125.

дочка. (...) Очень прошу снять с меня и моей доченьки безжалостное наказание, которое мы терпим за наших умерших родителей, и вернуть мне звание свободного советского человека»<sup>237</sup>. В отличие от заявлений, написанных в первые послевоенные годы, это сохранилось в учетном деле Дрейфелдов<sup>238</sup>. Видно, что следователь с ним внимательно работал, подчеркивая наиболее важные места красным карандашом. Ему представлялось важным, что моя мама в 1948 году уже была снята со спецучета. От бдительного чекиста не укрылось, что в написании фамилии Дрейфелдов имеются разночтения, но убедившись, что речь идет об одном и том же человеке, он решил переслать дело для окончательного рассмотрения в Латвийскую ССР. К прежним бумагам здесь добавлены характеристики с места работы и из комендатуры. Обе положительные, ибо ссыльная «с момента поселения все время занималась общественно полезным трудом. Условия режима соблюдала»<sup>239</sup>. Однако хорошие характеристики никак не повлияли на майора Министерства внутренних дел Латвийской ССР, у которого в руках оказалось лживое донесение старательного лейтенанта милиции Пумпе из Тукумса о том, что ссыльная в 1948 году якобы самовольно оставила место поселения. Заключив, «никаких аргументов, дающих основание отменить спецпоселение, Дрейфелде Лигита Яновна не упомянула»<sup>240</sup>, майор рекомендовал просьбу отклонить. Моя мама была не единственной, кто получил отказ. Поражал общий характер ответа, ясно показывающий, что в судьбах ссыльных предусматривались лишь косметические улучшения и то, что отменен пункт о «ссылке навечно», еще не дает надежды на возвращение в Латвию. Сознать это было горько. В 1954 году конечно, трудно было предвидеть, что через каких-то полтора года страну потрясет XX съезд КПСС, который и откроет, наконец, нашей семье дорогу в Латвию.

<sup>237</sup> LVA, 1987. f., 1. arg., 20293. l., 25. 1p.

<sup>238</sup> Мой отец тоже писал подобные заявления в 1951 и 1953 году, но в архиве их не нашлось. См. LVA, 1894. Г., 1. arg., 463. L, 20.1p.

<sup>239</sup> LVA, 1987. f., 1. arg., 20293. 1., 30. 1p.

<sup>240</sup> Там же, с. 34.

А пока надо было по-прежнему жить в Тогуре и стараться использовать каждую щель, приоткрывавшуюся в глухой стене режима, чтобы хоть как-то улучшить жизненные условия. О некоторых послаблениях свидетельствовало согласие администрации на то, чтобы Лигита Яновна прошла курсы повышения квалификации, по окончании которых стала контролером качества лесоматериалов, что частично освободило мою маму от тяжелого физического труда. В свою очередь, отец, ранее бывший простым электромонтером, теперь стал начальником электроцеха. После этих повышений родители стали больше зарабатывать, в доме появились вещи, принадлежавшие к советскому «люксу»: наручные часы, фотоаппарат, шуба. Неожиданным поворотом стало полученное отцом предложение вступить в комсомол<sup>241</sup>. Кто бы посмел отказаться? — нужно было вступать. Когда в конце пятидесятых годов, уже будучи в Латвии, отец получил подобное предложение — вступить, на сей раз в партию, он догадался ловко использовать свое прошлое «члена семьи бандита», чтобы отговориться: он не считает себя достойным быть в авангарде трудящихся. Так он без лишних неприятностей уклонился от

сомнительной и неприемлемой для него чести присоединиться к тем, кто испоганил его жизнь.

Когда до Тогура дошла весть, что некоторые из ссыльных приняты в Томский политехнический институт, мой отец решил учиться: в тот момент учение казалось единственным средством пробиться к свободе и лучшей жизни. Он мечтал стать инженером, выучить английский язык и написать справочник для радиолюбителей. До ссылки он успел окончить три курса техникума при ВЭФе. Теперь ему, казалось, должно было хватить еще одного класса заочной средней школы, но столь многое забылось, к тому же, нужно было научиться писать без ошибок по-русски, иначе вступительные экзамены в институт не сдашь. Удивительна

[241](#) Согласно шестому пункту постановления генерального прокурора СССР № 13 от 20 июля 1954 года следовало «...усилить политическую работу в среде спецпоселенцев, включая их в активную общественно—политическую жизнь. Спецпоселенцев (..) нужно вовлекать в профсоюзные и комсомольские организации, а также поощрять и награждать за трудовые достижения и использовать на работе соответственно их образованию и специальности». См. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. — Москва, 1993. — с. 127.

- 304 -

решимость, выносливость моего отца, ведь из-за учебы приходилось недосыпать, для сна оставалось всего четыре-пять часов. Работы в цехе по-прежнему велись в три смены, но, по крайней мере, рабочий день теперь длился положенные восемь часов, и выходной давали каждую неделю. Через два года вечерняя школа была закончена, и он отправился в Томск. Мы оставались дома, с замиранием сердца ожидая новостей. Чтобы хоть немного снять напряжение, бабушка и мама опять прибегли к психотерапии пасьянсов, впадая в отчаяние всякий раз, когда карты не сходились, и облегченно вздыхая при удаче. Последняя новость была такой, что все экзамены сданы на отлично, оставалось самое страшное испытание — сочинение на русском языке, которое вполне могло перечеркнуть все предыдущие усилия. Наконец, пришла телеграмма: отец победил!

В Сибири мой отец успел окончить первый курс института. Когда летом 1957 года мы вернулись в Латвию, приемная комиссия Рижского политехнического института не хотела допускать его к занятиям. Там считали, что освобождение от административной ссылки — недостаточное доказательство лояльности и такому «члену семьи бандита» нечего делать среди честных советских студентов. Выходит, хрущевская «оттепель» еще не достигла Латвии. Зато получено указание насчет восстановления «классовых критериев набора студентов» в советской высшей школе<sup>242</sup>. Лишь после переговоров с деканом факультета Айвару Калниетису разрешили продолжить учебу. В русском потоке.

Мой отец всегда умел подняться выше горечи, для которой было так много оснований: искалеченная во время войны нога, молодость, покореженная ссылкой, житейские трудности по возвращении в Латвию. Несмотря ни на что, он сохранял тот внутренний свет, излучение которого

[242](#) Зезина М. Шоковая терапия: от 1953-го к 1956 году // Отечественная история. 1995. — № 2, с. 133.

интуитивно ощущал каждый, кто с ним соприкасался. Рядом с моей блистательной и столь духовно ранимой мамой он был опорой семьи. Именно отец принимал самые существенные решения, не преминув при этом создать у остальных впечатление, что это их собственный выбор. Никогда я не могла понять, как это ему удавалось без каких-либо манипуляций или длинных словесных тирад. Даже в минуту гнева самым крепким его «ругательством» было слово krauklis (ворон), чаще же, осерчав, он выдерживал долгую, долгую паузу. Он самый светлый и уравновешенный человек из всех, кого мне довелось знать. Мой лучший друг, принимающий меня такой, какая я есть — своевольная, капризная, неукротимая; человек, с которым можно обсудить и самые интимные переживания, и экзистенциальные проблемы, встававшие передо мной, когда я искала выход из очередного тупика, пытаюсь примирить свои принципы с реальностью. С редкой чуткостью отец проводил меня через самые трудные мгновения жизни, после каждого поражения помогая восстановить силы под его крылом. Только теперь, по прошествии многих лет, понимаю, что унаследованная от него настойчивость помогла мне справиться с собой, когда в бурях молодости я не знала, куда кинуться, за что взяться, столько соблазнов завлекало, кричало о себе: используй шанс, другого не будет! Всегда в глубине своего сознания я хранила этот образ — профиль склонившегося над книгами отца, годами добивавшегося исполнения своей мечты. Когда передо мной вставал трудный выбор, когда ждала работа, нешуточная ответственность, образ отца, присутствовавший в подсознании, неизменно укреплял меня в принятом решении. Так оно будет и впредь. Даже тогда, когда нас на короткий миг разлучит вечность.

И еще один вестник перемен — новость, весной 1955 года потрясшая поселок Тогур: кто-то из ссыльных получил

письмо от зарубежных родственников. Новость прямо касалась моей мамы: может быть, теперь она узнает что-нибудь о братьях, с которыми с 1948 года потеряна всякая, связь? Не писали они и родне, остававшейся в Латвии, и никто не знал, в какой стране братья нашли прибежище. Письмо пришло из Канады 3 ноября. Получив на почте иноземный конверт с полосками по краям, мама сразу же узнала почерк Виктора. Сердце билось безумно. Наконец-то брат нашли ее! Плача, она помчалась домой, сразу за дверью сбросила пальто и трясуцимися от нетерпения руками вскрыла письмо. Мои милые, милые, милые! Невозможно поверить, что после стольких лет кто-то опять обращается к ней со словами: «Милая сестричка!»

Вольдемар и Виктор жили в Канаде, Арнольд — в Англии. У старшего, Вольдемара, кроме сыновей Юриса и Яниса, были еще двойняшки Рута и Петерис. Виктор женился вторично, жену звали Аустрой, у них родились близнецы Ту и Дайна, а через год — сын Виктор. Спустя несколько лет и Арнольд женился вторично. У них с женой Мартой — дочери: Лигита, Марта и Зиле.

Справившись с первым волнением, мама снова и снова читала письмо отцу, бабушке и мне. При чтении письмо обретало новую ценность. Слова отпечатывались в сознании, сливались воедино с мамиными воспоминаниями, слышанными прежде, придавая им жизненность и объемность. Начиная с этого первого письма незримое присутствие маминых братьев сопровождало нашу семью в радостях и бедах. Подрастая, я даже начинала ревновать маму к далеким дядьям, чьих

писем она ждала с таким нетерпением. Подростковый эгоизм заставлял подозревать, что они хотят занять в мамином сердце место, принадлежащее мне. Что я могла знать о тоске, глодавшей душу мамы годами, когда о любви к братьям нужно было довольствоваться обрывками воспоминаний и письмами.

- 307 -

Не могу без слез читать ответное письмо мамы ее братьям. Точно так же плакали и они, читая щемящие страницы, вместившие горькие судьбы родителей и сестры. «Больно думать, что прошло так много лет, а вы ни разу не пытались меня искать, хотя у вас для этого возможностей было больше. Последний раз привет от вас получила семь лет назад. Тогда я еще жила в Латвии, а теперь опять в Томской области. Мамочка не дождалась, когда я приеду во второй раз, она умерла 5 февраля 1950 года от разрыва сердца. Осталась я одна, совсем одна... После всех тягот, перенесенных в дороге, так надеялась встретить свою мамочку, а вместо этого в конечном пункте мне официально сообщили о ее смерти. Это был величайший удар в моей жизни, я и сейчас не могу от него опомниться».

«Часто перечитываю и давно уже знаю наизусть твое, Витек, письмецо, единственное с 1947 года, тогда мы его читали вместе с мамой и плакали. Я уж четыре года как замужем. Моя фамилия теперь Калниете. У нас маленькая, милая дочурка Сандра, на Рождество ей исполнится три года. Работаем оба на лесопильне. Вначале работала на подаче досок, а теперь уже второй год — бракером. Мой муж Айвар работает и учится вечерами, чтобы со временем стать инженером».

«...Прошу, прошу — пишите мне, я буду не знаю как счастлива, снова держа в руках ваше письмо. Пишите о своих «птенцах», которых так мечтала обласкать мамочка, — пришлось ей умирать, не повидав внуков. Я представляю себе нас все еще такими, какими вы были пятнадцать лет назад. У меня в мои двадцать восемь лет уже полно седых волос, значит, у вас их должно быть еще больше, ведь никого из нас жизнь не баловала. Прошу, пришлите хоть какую-нибудь свою фотографию, чтобы можно было посмотреть, когда думаю о вас».

- 308 -

«...Пишу и плачу, вспоминая прошлое, и понимаю, что никогда, никогда не повторится ну вот хотя бы такая мелочь — вы о ней наверняка забыли — как я гордилась, танцую с вами в дубултской гимназии. А теперь мы постарели. В моем возрасте еще можно было бы и танцевать, но здешняя жизнь меня от всего этого отучила. Витенька, ты помнишь, как ты подбрасывал меня в воздух и говорил, что я становлюсь все меньше? А то, как я тебя обнимала в последний вечер, когда ты мне привез новые туфли? Точно бы знал: в дальнюю дорогу!»

«Прошу, пишите мне и не думайте, что у меня из-за этого могут быть какие-то неприятности. (...) Ваши дни рождения и именины я каждый год отмечаю — а вот мои, наверно не помнит уже никто. (...) В следующий раз пришлю вам фотографию мамы в гробу. Пожалуйста, пишите...»<sup>243</sup>

Когда весной на Оби после ледохода открылась навигация, пришла и первая посылка от братьев. Ее давно ждали — братья писали, что отправили уже несколько посылок в разное время. Отец помог маме донести тяжелый ящик до дома и сразу же заспешил на работу, так что при торжественном открытии посылки он не присутствовал. Зато сполна насладились этой минутой мы с бабушкой, сопровождая возгласами восторга каждый предмет, извлекаемый и

бросаемый в воздух мамой. Даже сегодня, изъездив чуть ли не полмира и навидавшись прекрасных вещей, скажу — ничто не может затмить ощущения чуда, которое я испытала тогда, глядя на невиданные богатства, превратившие мою маму в сказочную королеву. Там были платья и нейлоновые чулки, кружевное белье и элегантное пальто, блузки белого шелка и юбки в складку. «Неужели вся эта красота — мне?» — восклицала мама и одну за другой примеривала чудесные

[243](#) Письмо Лигиты Калниете Виктору Дрейфелду. 5 ноября 1955 года.

- 309 -

обновки. Не были забыты и остальные члены семьи. Я по числу полученных подарков заняла второе место. Когда утром отец пришел домой с ночной смены, мама уже ушла на работу, а я спала. Отец тихо и благоговейно перебрал выложенные из посылки вещи, каждую заботливо, как бы лаская, сложил. «Какие вещи! Какие все-таки вещи! — думал он. — Ни в жизнь этому идиотскому государству не видать таких!»

Не знаю, сознавал ли отец в ту минуту, глядя на самые обыденные предметы, привычные в большинстве других стран, насколько они отражают пропасть, отделяющую Советский Союз от нормального мира. Жизнь моего отца была чересчур трудна, чтобы у него еще оставалось время и желание думать об исторических закономерностях или путях развития общества. Его недоверие к советскому режиму было инстинктивным, коренилось в собственном горестном опыте, и его не смогли изменить даже потрясающие разоблачения культа личности Сталина и его преступлений на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года, хотя многие тогда восприняли их с надеждой, что все худшее позади и тот мир справедливости и равенства, о котором мечтали первые коммунисты и который злокозненные действия некоторых людей не дали построить, теперь станет возможным. Съезд окружала атмосфера такой секретности, что даже рядовые члены партии толком не знали о том, что там произошло<sup>244</sup>. Сегодня кажется странным, что в государстве с всеобщей грамотностью, где газеты выходили гигантскими тиражами и было доступно также и радио, сообщение Хрущева передавалось, точно в царские времена, из уст в уста. В начале марта партийные комитеты получили брошюры строгого учета с отметкой «Не для печати» и указанием зачитать предлагаемый текст на партийных, комсомольских собраниях с привлечением актива<sup>245</sup>. Для номенклатурных работников то был шок, однако они привыкли выполнять указания

[244](#) Н. Хрущев прочел свой доклад Двадцатому съезду КПСС на закрытом заседании, в котором приняли участие также руководители зарубежных компартий. Видимо, кто-то из последних передал текст доклада для публикации, и в начале июня он появился в печати США, Франции и Англии. См. Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В.Сталина. — Москва: Агентство печати «Новости», 1989. — с. 230. В СССР полный текст доклада впервые опубликован в 1989 году в журнале: Известия ЦК КПСС. № 3. с. 128-170.

[245](#) 5 марта 1956 года Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об ознакомлении с докладом тов. Хрущева Н.С. «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС». Тем самым с доклада был снят гриф «Совершенно секретно», однако его по-прежнему запрещалось публиковать в печати. См. «О культе личности и его последствиях»: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза. 25 февраля 1956 года // Известия ЦК КПСС. - 1989. - № 3. с. 166.

«сверху» без рассуждений, поэтому по Советскому Союзу прокатилась волна собраний, глубоко потрясших и расколовших общество на сторонников и противников происшедшего. Даже в современной России находятся люди, убежденные в том, что великий Сталин несправедливо оболган. Мой отец также был приглашен на общее собрание коммунистов и актива лесопильни, где был зачитан знаменитый доклад.

Собрание уже началось, когда Айвар вошел в кабинет директора. Он остался стоять у дверей, частично скрывшись за косяком, бросавшим тень на его лицо и прикрывавшим от чужих взглядов. Парторг сидел у стола и по брошюре читал слова, которые раньше люди боялись допустить даже; в мыслях, не то, что высказать вслух. В помещении стояла напряженная тишина. Все сидели с опущенными глазами и непроницаемыми лицами. Отец слушал, как парторг сиплым; голосом, время от времени облизывая сухие губы, низвергал с трона «величайшего и человечнейшего из людей», тридцать лет решавшего судьбу жителей огромной империи и уничтожившего миллионы безвинных людей. У отца стучало в висках, временами его мысли уходили к тому, что им самим было пережито. Да, в докладе не были забыты и сфабрикованные дела латышей Р. Эйхе, Я. Рудзутака, В. Межлаука. Они верой и правдой служили советской власти, пока в 1937 году не были уничтожены наряду со многими другими политическими деятелями — латышами, оставшимися в СССР. И если правящая клика так обходилась со своими, то уж на что могли рассчитывать бесправные «классовые враги»! Айвар с нетерпением ждал — когда же речь пойдет о жертвах массовых депортаций, таких же несчастных, как он. Слышались все новые и новые имена коммунистов, государственных деятелей, полководцев, и наконец прозвучало: «...Грубые нарушения ленинской национальной политики

советского государства. Речь идет о высылке целых народов из их родных мест»<sup>246</sup>. У отца засосало под ложечкой. «...Как можно возлагать ответственность за враждебную деятельность отдельных лиц или групп на целые народы, в том числе женщин, детей, стариков (...) и подвергать их массовым репрессиям, утратам и страданиям»<sup>247</sup>. Назвали чеченцев, ингушей, грузин, но ни слова о латышах, эстонцах, литовцах. Как будто нас нет, с горечью думал отец. Еще более разочаровали его конечные выводы — что нужно сделать для преодоления культа личности. Они были такими общими, расплывчатыми, что нельзя было понять — входит ли решение о судьбе ссыльных в число предполагаемых мер по «преодолению». Может быть, слова о «восстановлении социалистической законности и предотвращении ее нарушений» что-то сулят? Все зависело от того, что именно в дальнейшем «они» сочтут советской законностью.

Парторг завершил чтение, обратил побагровевшее лицо к слушателям и задал вопрос, положенный по процедуре обсуждения: «Кто хочет высказаться?» Таких не было и быть не могло, ибо никакое обсуждение сценарием собрания не предусматривалось. Парторг, помедлив, продолжал: «Есть предложение доклад Никиты Сергеевича Хрущева XX съезду одобрить в целом. Кто за?» «Одобрители» единогласно. Люди, не глядя друг на друга, молча покидали кабинет.

С тех пор, как историкам стали доступны архивы компартии, «оттепель» Хрущева основательно исследована. То был противоречивый процесс, в котором борьба отдельных лиц и группировок

за власть в правящей когорте, куда входили Маленков, Хрущев, Берия, Молотов и прочие, сочеталась с сознанием того, что Советский Союз близится к экономической катастрофе, которая может смести политическую элиту. Гулаг уже не оправдывал себя, репрессивная

[246](#) Там же, с 151.

[247](#) Там же, с. 152.

- 312 -

система разрослась настолько, что доходы от малопроизводительного рабского труда не покрывали затрат на ее содержание<sup>248</sup>. Конфронтация с Соединенными Штатами Америки и их союзниками становилась непосильной для государства, так как на содержание армии, военный конфликт в Корее и прочее уходила треть официально обнародованного бюджета, а было еще и секретное финансирование<sup>249</sup>. Не соображения гуманности или забота о выяснении исторической правды побудили Хрущева и других членов Политбюро летом 1955 года начать подготовку к XX партийному съезду и разоблачению на нем культа Сталина. То была необходимость, продиктованная безвыходностью; на кону была власть. Характерно, что с молчаливого согласия самих «разоблачителей», годами участвовавших в сталинских репрессиях, обойден был вопрос об их персональной ответственности, за исключением лишь случаев, когда это могло послужить средством для сведения политических счетов. Это умолчание позволяло и номенклатурным руководителям низших рангов прикрываться незнанием подлинного масштаба репрессий и снять с себя ответственность. На совести Хрущева было немало жертв и безвинно репрессированных на Украине. По его инициативе было принято секретное постановление Президиума ВС СССР о массовых депортациях 1949 года из Эстонии, Латвии и Литвы<sup>250</sup>. Однако первые же месяцы обсуждения «правды» показали, что «народ недостаточно сознателен», задает неприятные вопросы и требует дальнейшей демократизации, поэтому в июне, дабы объяснить, что можно и чего нельзя, было принято постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»<sup>251</sup>. В этом постановлении главным виновником всех бед и преступлений назван Сталин, таким образом, предполагалось снять ответственность с «соратников», «товарищей по борьбе» и «верных учеников». Однако и после постановления вредное любопытство

[248](#) PohIO.J. TheStalinistPenalSystem. A Statistical History of Soviet Rcpression and Terror, 1930—1953. — Jefferson (North Carolina), London: MacFarland &Co, 1997. — p. 43.; БугайН. 40—50-е годы: последствиядепортациинародов // ИсторияСССР. - 1992. - № 1. - с. 132.

[249](#) Жуков Ю. Борьба за власть в партийно-государственных верхах СССР весной 1953 года // Вопросы истории. — 1996. — № 5/6. — с. 50.

[250](#) Там же, с. 55; Наумов В. Н. С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий // Вопросы истории. — 1997. — № 4. — с. 30.

[251](#) О преодолении культа личности и его последствий // Правда. — 1956. — 2 июля.

- 313 -

интеллектуалов и не менее вредные призывы к установлению истинной демократии не унимались; в 1957 году это вызвало первую волну постсталинистских репрессий, направленных против попыток ревизовать руководящую линию партии<sup>252</sup>. Именно во время правления

Хрущева к тюремному заключению и лагерям прибавился новый вид репрессий — психиатрические больницы, в которых годами держали наиболее смелых советских интеллектуалов и диссидентов<sup>253</sup>.

Ожидание после XX съезда КПСС казалось невыносимым, так как все решения и распоряжения об освобождении той или иной категории спецпоселенцев принимались секретно и никакая официальная информация о происходящем до ссыльных не доходила<sup>254</sup>. Только слухи, предположения, а также повторяющиеся события, которые, суммируясь, позволяли заключить, что освобождение близится. 7 июля мой отец написал эмоциональное письмо Хрущеву, не свободное от советских штампов, призванных убедить в его невиновности; однако, и они не в состоянии умалить правду пережитого: «Там (в школе) нас учили в духе гуманных идей Ленина и Горького, говорящих о том, что в человеке нужно видеть все лучшее. Почему же во мне видят только наихудшее? (...) У нас родилась дочка, маленькая такая, кругленькая — я ее очень люблю. Год назад ее исключили с учета, однако темное пятно от моего отчима, преследующее меня, падет теперь и на его внучку. Чем я угрожаю советской власти? Что плохого я сделал? Почему меня сослали? Эти вопросы меня преследуют каждый день, и я не нахожу на них логического ответа. Я верю в справедливость, этому учили меня мать, школа, комсомол, поэтому прошу Вас, Никита Сергеевич, как человека, страстно верящего в победу правды, обратить внимание на это письмо»<sup>255</sup>. Вместе с заявлением отца в Москву, а затем для проверки всех «фактов» в Ригу проследовало и заявление моей бабушки,

[252](#) 19 декабря 1956 года ЦК КПСС разослал в партийные организации письмо "Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов», после получения которого начались аресты. См. Наумов В. Н. С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий // Вопросы истории. — 1997. — № 4. — с. 32.

[253](#) Наумов В. Н. С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий // Вопросы истории. — 1997. — № 4. — с. 33.

[254](#) 24 марта 1956 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О рассмотрении дел лиц, отбывающих наказание за политические, служебные и хозяйственные преступления», вслед за которым появился целый ряд указаний генерального прокурора СССР, разъясняющих порядок пересмотра дел различных категорий спецпоселенцев и их освобождения. См. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. — Москва, 1993. — с. 125.

[255](#) LVA, 1894. f., 1. arg., 463. 1., 22. 1p.

- 314 -

на котором имеется резолюция: «Рассмотреть жалобу Милды Калниете и подготовить к принятию окончательного решения». Через несколько месяцев блужданий по различным инстанциям дело продвинулось настолько, что 4 декабря 1956 года коллегия уголовных дел

Верховного Суда Латвийской ССР на закрытом заседании постановила: «Освободить Милду Петровну Калниете и Айвара Александровича Калниетиса от дальнейшего нахождения в ссылке»<sup>256</sup>.

С запозданием в несколько недель было рассмотрено также дело моей мамы. Констатируя, что Янис Дрейфе умер в Вятлаге 31 декабря 1941 года, что Эмилия Дрейфе тоже умерла в местах спецпоселения, а также принимая внимание, что ссыльная замужем за Айваром Калниетисом сосланным по другому делу, относительно которого прокурор ЛССР внес протест в Верховный Суд ЛССР с рекомендацией освободить его от спецпоселения, следовательно предлагает снять с учета на спецпоселении Лигиту Дрефелде-Калниете<sup>257</sup>. 25 декабря заключение следствия утвердили министр внутренних дел и прокурор ЛССР.

По неизвестной причине ответ на заявления моих родителей задержался, они считали дни, оставшиеся до закрытия навигации, и удрученно наблюдали за тем, как уезжают более удачливые. 10 ноября в Ригу самолетом вылетела ближайшая подруга мамы Мара Краминя, с которой вместе было столько пережито, начиная с 1942 года. Расставание было грустным — родители все еще не получили ответа на свои прошения. Мать писала брату Виктору: «После отъезда наших знакомых у меня совсем подавленное состояние, единственные остаемся здесь на зиму, а зима тут — до следующего года. Как-нибудь понемногу примиримся с этим, но пока что мне становится страшно, как только подумаю об этой долгой зиме»<sup>258</sup>. Наступило Рождество, а

<sup>256</sup> Там же, с. 34.

<sup>257</sup> LVA, 1987. f., 1. arg., 20293. 1., 37. 1p.

<sup>258</sup> Письмо Лигиты Калниете Виктору Дрейфедду. 3 октября 1956 года.

- 315 -

разрешения на отъезд все еще не было. Родители были в отчаянии. Мой отец не мог его скрыть, посылая поздравительную открытку брату жены: «Посмотрим, что нам принесет Новый год. Ожидаем-то много чего, но скорей всего зря. Так мы ждали год за годом, ведь так хотелось, чтобы все кончилось поскорей. (...) Особенно надеются мои дамы. Сам я, по видимости, весьма скептически смотрю на суть дела. Но это именно видимость — глубоко внутри какой-то голос заставляет все же надеяться, что все кончится хорошо. Не хочется только выказывать, (...) и если все же придется обмануться, будет не так больно»<sup>259</sup>.

Отец и бабушка получили разрешение на отъезд 30 декабря. Ответа маме все еще не было, и она с тревогой ждала, про себя спрашивая: неужели ей единственной нужно будет остаться? Отец ее успокаивал, хотя до конца не был убежден в своих словах: от «них» можно было ожидать всего. Прежде разлучали семьи, кто им помешает повторить это и теперь? Наконец, 12 января маму вызвали в комендатуру. Она была свободна!

Как невзрачен документ об освобождении! Небольшой, пожелтевший листок, несколько фраз,

напечатанных на машинке, деревянный, казенный язык: «Справка дана Калниетис Айвару Александровичу, 1931 г. рождения, уроженцу Латвийской ССР, города Риги, по национальности латышу в том, что он с учета спецпоселения снят». В верхнем углу — надпись: «Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется»<sup>260</sup>.

20 мая 1957 года мы в Колпашеве поднялись на борт парохода. Начался путь нашей семьи домой, возвращение, которого моя мама ждала шестнадцать лет, бабушка и отец — восемь лет и три месяца, а я сама — четыре года и пять месяцев.

[259](#) Письмо Айвара Калниетиса Виктору Дрейфелду. 25 декабря 1956 года.

[260](#) Справка о снятии со спецучета хранится в семейном архиве.

- 317 -

«Милый Вольдик!

(..) наконец это случилось — сижу в поезде, едем домой. (...) Начало пути было довольно хорошим, но, когда сошли с парохода, начались всякие беды. Сейчас все уже позади, третий день сидим в поезде. Приближаемся к границе Европы и Азии. Из Томска выехали, когда там еще шел снег пополам с дождем, и не было никакой зелени. Здесь все уже зелено, цветут дикие яблони — очень красивая природа. Начались Уральские горы, а сразу за ними — Европа. Айвар остался в Томске, у него 1 июня начнутся экзамены.

Кажется, уже писала тебе, что в Риге почти невозможно найти жилье. Думала, на то время, пока Айвар уладит дела с жильем и пропиской, я с Сандрой уеду в Лиепаяу к тете. Все уладилось иначе. Один школьный товарищ Айвара снял для нас жилье в Асари — комнату с кухней, так что теперь мы едем прямо «к себе домой». (...)

Теперь мы уже в Европе. В том месте, где начинается Европа, установлен белый обелиск с надписью: Азия — Европа. Цветет сирень. У нас на столике в бутылке тоже ветка сирени. Здесь необыкновенно красивая природа, смотрю в окно и не могу наглядеться. Завтра будем в Москве. Со временем творится что-то странное. Здесь время московское, четыре часа разницы с Томском. Ночи вообще не было, всю дорогу светло. (...) Если завтра все сложится хорошо, мы сможем ехать прямо в Ригу. Скорый поезд идет всего девятнадцать часов. Еду, и во мне почему-то все время такое

- 318 -

равнодушие, никакой радости оттого, что через пару дней мы будем в Риге. Может быть, это изменится, когда будем ближе.

29.05. Продолжение. Вольдик, я думала послать это письмо из Москвы, но там не было ни минуты времени. Вчера в одиннадцать вечера приехали в Москву, и сломя голову надо было мчаться, чтобы успеть на рижский поезд, который отходил в час ночи. С того вокзала, на который мы прибыли, надо было ехать на Рижский вокзал. От этой короткой поездки осталось еще и сегодня муторное впечатление. В такси по счетчику надо было платить 5 рублей, а шофер потребовал пятнадцать. Заплатила только десять и потом жалела, что это сделала, потому что они не имеют прав брать больше. Еще и сегодня меня тошнит от этой бессовестности. И носильщик содрал 20 рублей. (...) В поезде тоже было странное ощущение — поезд идет в Ригу,

а мы в нем единственные рижане. Завтра утром будем дома — в Риге. Как странно — там, снаружи, идет снег! Все вокруг зеленое, и снег идет с небес как бы невпопад.

Меня с нетерпением ждет подруга Мара, уехавшая в Ригу еще в ноябре. С ней и с другими, кто жил вместе с нами в Колпашеве, у нас может быть что-то общее. Мара считает дни до нашего приезда, у нее ни одного близкого человека. С местными рижанами ничего общего у нас быть не может. (...) Я еще не заканчиваю письмо. Хочется записать впечатления от переезда через границу. Это четвертый раз, как я ее пересекаю. Надеюсь, последний.

30.05. Рига. Вольдик, мы в Риге — и я бесконечно счастлива! Сейчас я в квартире у моей подруги Мары, которая мне кажется раем. Ей посчастливилось получить ордер на комнатку в отчем доме. Она собрала кое-что из мебели,

- 319 -

оставшейся от матери, и устроилась очень уютно. На вокзале нас встретили очень радушно. Мара перед тем не спала несколько ночей в ожидании нашей встречи. У ее знакомого есть машина, и они все нас встречали. Преподнесли красивые букеты. Такое чудесное ощущение, когда едешь по рижскому асфальту. Мара потратилась, готовя нам угощение. Этого и не нужно было, но до того приятно, что нас приняли так сердечно. После обеда ходили с Сандрой и Марой прогуляться, и, глядя на прекрасную Ригу, я наверняка была одним из счастливейших людей на свете. Там и сям по пути слышали латышскую речь, в магазине надписи на латышском, по радио латышские передачи. В центре не была, мне нечего надеть, багаж из Колпашева еще не пришел. Когда его получим, поедem в центр, в Юрмалу и т. д., о чем я напишу тебе в следующем письме. Сегодня провожала Мару на работу (она живет в Иманте), шли вдоль железной дороги, каждые десять минут мимо проносились туда и обратно электрички. В Риге многое перестроено, и судя по тому, что я успела увидеть из машины, когда ехали с вокзала, она стала еще краше, чем была. (...) Ваша Лигита»<sup>261</sup>.

<sup>261</sup> Письмо Лигиты Калниете Вольдемару Дрейфелду. 28—30 мая 1957 года.